

Глеб ГОРЫШИН



ГЛЯДЯ В ГЛАЗА
МДОПЕ

Annotation

Размышления о сохранности Ладоги и об обеспечении Санкт-Петербурга чистой питьевой водой.

- [Глеб ГОРЫШИН](#)
 - [«А СОБСТВЕННО, ВОДОЮ...»](#)
 - [ОЗЕРО — ЕГО СУДЬБА](#)
 - [КИРИШИ: «БЕЛОК НА СРЕЗЕ ТРУБЫ НА НУЛЕ»](#)
 - [ЗВЕНО ЦЕПИ](#)
 - [В ВЕРХОВЬЯХ РЕК](#)
 - [ВИД НА ВАЛААМЕ](#)
 - [ВСЕ ВМЕСТЕ ВЗЯТОЕ](#)
-

Глеб ГОРЫШИН
Глядя в глаза Ладоге

«А СОБСТВЕННО, ВОДОЮ...»

*Чем знаменита Ладога?
А собственно, водою —
Холодную, крутую,
Прозрачную, седую!..*

А. Прокофьев

Мы знаем историю Петербурга с самого основания — хуже, лучше знаем, — неважно. Живя в Ленинграде, переживаем историю нашего города, кому сколько отпущено. В истории проще всего постигается первоначало: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн...» С этого началось и пошло, и идет. Само собою разумеется, что «пустынные волны» служили для города, разросшегося на берегах Невы, питьевой водой — ладожской, пресной, мягкой, вкусной, прозрачной. Ладога с Невою вкупе кормила город отменной рыбой: осетром, лососем, форелью, палией, судаками (судаки почитались монашеской пищей), сига́ми. Петербуржцы знали, что осень — самое дешевое время на сига́х: в эту пору сиг ловился бессчётно. Самый распространённый на Ладоге сиг — «лудога», нерестящийся в октябре на мелководье — лудах — южного побережья. Волховский сиг — классом выше.

Ладога и Нева служили долгое время чуть не единственной дорогой, связывавшей столицу с империей. Тысячи и тысячи деревянных барок везли по Ладожским каналам, по Неве в Петербург все потребное для нужд столицы и на вывоз за границу. Суда разгружали и отдавали на слом. Жители Петербурга тут же и раскупали корабельный лес для построек, а то и на дрова. В том месте, где торговали приплавленным по воде лесом, ещё в восемнадцатом веке учредился широко известный каба́к «Барка». От него получила название улица — Барочная, сохранила его до наших дней.

Мой дед Иван Иванович Горышин, житель новгородского села Рыкалова (новгородцы говорят: «жихарь»), сожженного в войну, гонял барки, груженные березовым «швырком», по Поле, Ловати, Ильмену,

Волхову, Ладожскому каналу, Неве — в Питер. Это сохранило семейное предание...

Я веду к тому, что городу на Неве не стать бы тем, чем он стал, без ладожской воды (Ладога — Нева — Невская губа — единая система). То есть его бы не было вовсе. Заглядывая в будущее города, тем более планируя его, надо не только в воду посмотреть, но исследовать ее, как исследуют кровь человека — по жизненным показаниям. Сообразовать планы и повседневную деятельность прежде всего с водой, ибо вода, как заметил Владимир Иванович Вернадский, — минерал жизни.

Между тем на протяжении своей истории, особенно в первом, да и во втором столетии городского летосчисления, и в третьем до середины, город (его летописцы—историографы) относился к давшему ему жизнь Ладожскому озеру с каким-то ребяческим небрежением, как дитя к матери: как будто так будет всегда. Первую, как бы сейчас сказали, комплексную, экспедицию по изучению озера предприняли через полтора века после основания Петербурга — в 1857 году; ее возглавил полковник штурманского корпуса А. П. Андреев; экспедиция продолжалась десять лет. Штурман Андреев составил первую карту, лоцию Ладоги, за что был удостоен золотой медали русского Географического общества. В 1875 году в Петербурге вышла книга А. П. Андреева «Ладожское озеро»; ее увенчают золотой медалью на Всемирной выставке в Париже как географическое открытие века. Одна из мыслей, проводимых в книге А. П. Андреева, может быть, главная ее мысль выражает самую суть нашего нынешнего отношения к озеру (и не только к нему): «Хорошая вода есть высшая необходимость для человека».

В книге «Ладожское озеро» многие описания читаешь с родственным сочувствием, как стихи Александра Прокофьева о Ладоге, и — увы! — с горечью утраты чего-то изначально нужного тебе. Ну вот, например: «Ладожская вода чрезвычайно чистая, мягкая и во всех отношениях доброкачественная... Около острова Коневца и в других местностях, где песчаный грунт, на пятисаженной глубине можно видеть все мельчайшие частицы на дне совершенно ясно... Мы достали воды со дна... А так как вода нижнего слоя оказалась такого же прекрасного качества, как и на поверхности, и так как в воздухе было весьма холодно, а время было ночное, то поставили самовар и с

величайшим аппетитом напились чаю из воды с глубины 112 сажен. Чай, на ней заваренный, оказался превосходным».

Так было долго еще, сам пивал чаи, заваренные на ладожской воде, как вдруг что-то переломилось. Ну, конечно, не вдруг...

Вода в Ладоге похужела в результате интенсификации всевозможной хозяйственной деятельности вокруг озера и на нем. «Интенсификация» — модное ныне словечко. Однако понятие это имеет две стороны: в первой — призыв: «Давайте, ребята, еще поднатужимся, поднажмем!» С другой стороны — наше экологическое троглодитство. (Согласно «Советскому энциклопедическому сборнику» 1988 года, троглодит — пещерный житель. В переносном смысле — невежда.)

1970 год называют последним, когда озеро растворяло, усваивало, переваривало все привнесенное в него и оставалось самим собою. Чем ближе к нашему времени, тем заметнее становилось перерождение Ладоги, то есть иной стала ладожская вода. Теперь о пей не скажешь, что она просто-таки хорошая. А какая?..

В этой связи приведу две цитаты из «круглого стола» по проблемам Ладожского озера из сборника «Ладога» (1985 г.).

«Напомним, однако, читателю, что такое Ладога. Это самое крупное в Европе озеро площадью 17 700 квадратных километров с объемом заключенной в нем воды более 900 кубических километров. Площадь бассейна Ладоги, то есть окружающий водосток с лесами, полями, угодьями на нем, составляет 276 тысяч квадратных километров, что значительно превышает территорию, скажем, Великобритании...

Богатство Ладоги — это три с половиной тысячи рек, впадающих в нее. Это леса в ее бассейне, животный и растительный мир. Это воздух, очищенный и освеженный ее просторами.

На берегах озера расположилось множество городов, поселков, деревень, промышленных предприятий, колхозов, совхозов, леспромхозов, а также здравниц, пионерских лагерей, туристских баз.

С каждым годом хозяйственная деятельность на Ладоге интенсифицируется».

Вторая цитата — из выступления академика А. Ф. Трешникова.

«Ладога — уникальный водоем. И не только потому, что самый крупный в Европе: система Ладожского и Онежского озер содержит

столько воды, сколько несут все реки европейской части нашей страны. Уникальна и вода Ладоги. Она минерализована вдвое меньше и потому вдвое преснее знаменитой байкальской воды. По крайней мере, была такой всего два десятилетия тому назад. Сейчас положение меняется. Медленно, но меняется (на основе последних данных можно сказать: меняется быстро. — Г. Г.). И не в лучшую, к сожалению, сторону.

Опасность — в переходе озера в эвтрофное состояние.

Что имеется в виду? За последние годы резко увеличилось поступление в озеро загрязняющих и биогенных веществ. Вода Ладоги переобогащается минеральным питанием. Слово «эвтрофный» происходит от греческого «эу» — хорошо и «трофе» — пища. На таком усиленном пайке биогенов стали бурно развиваться сине-зеленые водоросли: уже сейчас на некоторых участках объем водорослевой массы в двадцать — тридцать раз больше того, что было полтора десятилетия тому назад. Токсичные выделения сине-зеленых отравляют воду, а отмирая и разлагаясь, водоросли расходуют большое количество кислорода.

Уже сейчас, пролетая над Ладогой на вертолете после шторма, можно увидеть, как огромные массы органического вещества поднимаются водными потоками со дна и разносятся течениями по всему озеру.

Самое неприятное заключается в том, что огромного количества воды мы лишаем себя сами. Многие участки Ладоги цветут из-за избыточного поступления азота и фосфора, увеличиваются площади районов, где воду нельзя брать без предварительной очистки из-за деятельности целлюлозно-бумажных предприятий, расширяются акватории, затянутые нефтяной пленкой.

Мировая практика показывает, что помочь озеру в такой ситуации — сократить как минимум на треть поступление в него биогенных веществ. Тогда экосистема озера может восстановиться, но не раньше, чем завершатся два периода водообмена (на полный водообмен уходит 12 лет. — Г. Г.). Причем при нынешнем состоянии за каждый год промедления потребуется заплатить пятью годами, которые уйдут на естественное восстановление».

В 1986 году Ладога стала знаменита еще и тем, что на ее северо-западном берегу, в городе Приозерске, закрыли целлюлозный завод с

дальнейшим перепрофилированием на мебельно-деревобрабатывающее безотходное производство. Настолько целлюлозный завод отравил прямыми, без очистки сбросами прилегающую акваторию озера, что непитьевой стала вода в городском водозаборе; ядовитые отходы (в смеси сто пятьдесят компонентов) приблизились к водозабору Ленинграда. Другого выхода не было...

Но вначале немного о городе Приозерске — одном из главных действующих лиц ладожской эпопеи. Первое упоминание о русском поселении Корела, при впадении в озеро реки Узерьвы (впоследствии за ней утвердилось финское название Вуокса; звали ее еще и Бурной), означено 1295 годом. В том году отослано было из Корелы в Новгород сто десять тысяч беличьих шкурок. Новгородцами же построены на острове в дельте каменные башни. Потом река опадет, остров и крепость на нем соединятся с сушей. Позже Корела войдет в состав Русского государства. В 1580 году ее захватят шведы, назовут — Кексгольм; крепость усовершенствуется, превратится в твердыню-каземат. В 1710 году Кексгольмом приступом овладеют войска Петра Первого. Свет в окне, прорубленном Петром в Европу, наполнится голубизною Ладожского озера, как мы знаем, самого большого, самого чистого...

Долгое время Кексгольмская крепость служила узилищем для неугодных империи лиц: в конце XVIII века сюда привезли жену Емельяна Пугачева с дочерьми, продержали чуть не полвека. Здесь томились декабристы, петрашевцы...

В 1811 году Выборгская губерния с Кексгольмом отошла к Финляндии. В 1917 по Ленинскому декрету Финляндия получила независимость. В 1940 году, по договору с Финляндией, Кексгольм к нам вернулся. В 1944 его с боем взяли наши войска. В 1947 Кексгольм переименовали в Приозерск...

Всякий раз, принимаясь за чтение «Очарованного странника» Н. С. Лескова (читать его — не перечитать!), погружаюсь в изображенный чародеем слова мир древний, как бы не тронутый временем и людьми, такой глухоманный, что — показалось Николаю Семеновичу Лескову — не было нужды гонять ослушников по этапу в Сибирь: и там не сыщешь эдакой дичи, как на Ладоге у Корелы...

В 1931 году финны построили в Кексгольме целлюлозный завод — на особо чистой ладожской воде, с выпускной трубой в Вуоксу. Из

той трубы хлестало до середины шестидесятых годов, когда санэпидслужба забила тревогу. (Заметим, что по Вуоксе подымался на нерест ладожский лосось.) Вместо того чтобы приступить к строительству очистных сооружений, Минлесбумпром... (Эту преамбулу «вместо того чтобы» можно приложить к любой из ладожских проблем, которых накопилось невпроворот.) Возобладало экологическое троглодитство: провели три трубы в Дроздово озеро — чистойшую лагуну, соединили его бетонным лотком с Щучьим заливом Ладоги. К середине восьмидесятых Дроздово озеро переполнилось, превратилось не только в вонючую лужу, но в химическую бомбу замедленного действия. Омертвел, зачужел — для озера и людей — Щучий залив, названный так по своей рыбности. Вода в Приозерске стала непитьевой: язык загрязнений приблизился к водозабору Ленинграда. Еще бы немного и...

В октябре 1986 года было принято окончательное решение о закрытии Приозерского целлюлозного завода. Понятно, что этот исход не случился сам собою; министерство, руководство завода выставляли главные козыри: вязкая целлюлоза нужна стране; с заводом связано социальное бытие населения Приозерска; все другое исправим после. Изыскивались обходные пути, им находилась в верхах поддержка: в зиму 1986–1987 годов ударными темпами сваривали плети труб — для стока с завода, в обход Дроздова озера, в Ладогу, подальше от берега...

Разразилась сшибка весьма могущественных сил с санэпидслужбой, у которой всего-то пробирка с пробой воды да еще маленькая власть на частичную санкцию. И — с общественным мнением. То есть сшиблись ведомственный подход, не знавший до сих пор альтернативы, с экологическим, гуманитарным. Последний взял верх в силу чрезвычайных обстоятельств.

Плети труб остались несваренными до конца, сам видел: лежат, ржавеют; ударный труд сварщиков — неотмеченным...

В сентябре 1987 года я спросил у директора год как закрытого целлюлозного, еще не пущенного мебельного (на заводе в то время шили чехлы для будущей мебели) завода Алексея Владимировича Баркалова, что думают наши соседи, партнеры — финны — о такой радикальной мере. Он взвесил, припомнил...

— Финны сказали, что у них такое невозможно: закрыть большой завод. «Это только в такой богатой стране, как ваша... при вашей

системе...» У них капиталист бы не согласился, поискали бы другой выход...

Вспоминаю высказывание одного руководящего товарища, причастного к ситуации в Приозерске. В пик событий, оно приводилось в печати:

— Никогда не думал, что в наше время, при нашей общественной системе, возможен столь остродраматический социальный конфликт.

Можно прокомментировать этот «крик души»: драматизм конфликта накапливался в пору застоя, его радикальное разрешение предопределила перестройка. Однако острота снята лишь отчасти. На Ладожском озере, то есть вокруг него, семь крупных целлюлозно-бумажных производств вовсе без очистных сооружений или же с частичной очисткой, с неконтролируемым сбросом в озеро вредных отходов. Собственно, нет норм сброса, нет и сколько-нибудь надежной технологии радикальной очистки.

Осенью 1987 года мы с фотокорреспондентом Анатолием Васильевичем Фирсовым отправились на машине вокруг озера: работали тогда над фотоальбомом о Ладоге (нынче выйдет в издательстве «Планета»). Поехали с вдохновлявшей нас мыслью: поглядеть Ладоге в глаза. Признаться, дорога редко давала нам эту возможность: лишь на востоке, за Питкярантой, у Олонца — низко, ровно, далеко в озеро видно; на севере дорога петляет в распадках, прорублена в гранитах согласно геометрии шхер, каньонов, «бараньих лбов».

Под Приозерском свернули к озеру, на турбазу объединения «Красный треугольник». Озеро явило себя холодно-бирюзовым, наморщенным западным ветром, преобладающим здесь. Из лона вод вышел на гранитный берег Александр Васильевич Агапов, инструктор туризма. В воздухе было + 12°, в воде (как сообщил нам купальщик) + 10°. Голое тело Агапова гармонировало с окружающей природой, как любят у нас говорить, «вписывалось». В теле инструктора не было изъяну: гладкокожее, малость смугловатое — в меру отпущенных за лето светилom ультрафиолетовых лучей. С седых, по-гусарски

разросшихся бакенбардов Александра Васильевича стекала вода. После, за чаем, Агапов назвал свой возраст: 69 лет.

Когда-то он участвовал в арктических экспедициях с биологическими целями, изучали круговращение болезнетворных микробов: от рыбки к чайке, от чайки обратно в море. Фотокорреспондент Фирсов встречал Агапова на островах Баренцева моря. Мир наш дивно широк, столь же дивно и тесен...

Пригревало солнце, синевела Ладога; на турбазе «Красного треугольника» проходили Всесоюзные соревнования по ориентированию; слышался латышский, эстонский, литовский говор.

На берегу пустынных волн стоял... главврач Приозерской санэпидстанции Юрий Сергеевич Занин, внезапно приобретший широкую известность как главное действующее лицо приозерской сшибки: много лет облагал штрафами администрацию завода, применял санкции — за превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) отравы, подавал докладные во все инстанции, какие есть, подымал голос на пленумах, сессиях, исполкомах. То есть как врач посвятил свою жизнь выздоровлению занемогшего озера, борьбе с болезнетворным началом — нашему с вами здоровью.

Из глаз приозерского доктора Занина исходил озерный бирюзовый свет. Занин глядел в озеро, ждал сына, откуда-то с островов, с брусникой. И сам набрал брусники... Остановленный при его активном участии завод не дымил, не выпускал в озеро потоки биогенов и другой дряни. Занин сказал, что ситуация нынче благоприятная: в Щучий залив ныряли аквалангисты, установили, что стало чище. Вот уж построят фильтрующую дамбу в Щучьем заливе... Форсированно строятся очистные сооружения для городских стоков. Закуплены в Бельгии особо эффективные угольные фильтры...

Примерно то же с очисткой всюду: еще не построили, не ввели, но введут, форсированно, — и в Ляскеле, Питкяранте на целлюлозно-бумажных производствах, и в Лахденпохье, Лодейном Поле на городских стоках. И в Невской губе: дамбу поперек Невы возвели, а очистные сооружения для пятимиллионного города все еще строят — форсированно. А насколько спасительна очистка, та, что есть, та, что будет? В стоках — промышленных и бытовых — кроме органики, биогенов, почитай, вся таблица Менделеева.

В светлом взгляде Юрия Сергеевича Занина еще сквозила тревога: так недавно все было. Да и нынче не кончилось. У него очень русское лицо; на лице след долгих борений, сурового испытания, как у актера Георгия Жженова. Стесанный снизу подбородок, скулки торчком, впалые щеки (приходит на память есенинское: «На щеки впалые бежит сухой румянец...»), челка мягких светлых волос на выпуклом, поместительном лбу. Глаза такого цвета, как озеро в умеренно-солнечную погоду, при слабом, холодном, западном ветре.

Я уже не раз примерял мое перо к особенностям цвета очей озерного жителя и впредь, пожалуй, не удержусь: по-особому преломленная синева-голубизна ладожского настоя слишком заметна во взоре. Посмотришь в глаза человеку — будто в глубь озера заглянул.

Главврач Приозерской санэпидстанции заметно дергался: еще не научился скрывать свои чувства. Он оказался в перекрестье разнообразных, отнюдь не добрых к нему сил. Ему грозили по телефону и так — чуть не решеткой. В родном своем городе Приозерске для большинства «заводчан» он стал персоной нон грата: выискался умник наш завод закрывать! Ату его!

Когда я выступал в Приозерске в библиотеке перед читателями, разумеется, весьма экологически продвинутыми (в Приозерске!), у меня спросили: «А орден Юрию Сергеевичу Занину дадут?» Я чистосердечно сказал, что не знаю. До сих пор ордена давали за досрочное введение в строй производственных мощностей. А за закрытие оных...

Юрий Сергеевич Занин сказал нам с фотокорреспондентом Фирсовым, без раздражения, с какой-то печалью:

— Мне не нужна слава, журналисты, и снимок не нужен... Пусть начальство мне укажет вас сопровождать, сам я не буду...

Вполне можно его понять. Главврач областной санэпидстанции получил за Ладогу строгача...

Первый секретарь Приозерского горкома Владимир Александрович Кармановский обдал нас голубизною взора. Рассказал, как приехал сюда из Раздольнинского совхоза, где директорствовал (первым стал после закрытия целлюлозного завода).

— Я сельхозник... В первую ночь, как приехал, лег спать, а с завода облако сероводорода нанесло... Полотенце намочил, на лицо, а дышать нечем... Теперь в Щучьем заливе ряпушка ловится...

В глазах у первого секретаря будто ряпушка засеребрилась.

В гостинице «Корела» администраторша излила нам с Анатолием Фирсовым свою душу. Это было первое наше интервью в городе Приозерске. Город стал героем, пусть ненадолго: первым в стране закрыл завод–отравитель, вдруг задышал полной грудью, напился чистой (в пределах ПДК) водой. И тем прославился на всю державу.

Администраторша говорила с обидой:

— На заводе я получала 200 рублей в месяц, здесь 70. Я с 47 года в Приозерске — и ничем не болею. И дети у меня не болели. Зачем надо было закрывать завод?

Эту женщину можно понять, даже посочувствовать ей как без вины пострадавшей. Строго наказаны те, за кем найдена вина в нанесении вреда окружающей среде в Приозерске. Вина — от ведомственной самонадеянности, гражданской безответственности, экологической безграмотности.

Сидели в приемной у председателя Приозерского горисполкома Виталия Максимовича Степанько, потом у него в кабинете. Это он, Степанько, когда решалась судьба завода, принял сторону санэпидслужбы, обращался в директивные органы, ездил в Москву, поддержал доктора Занина.

Председатель горисполкома сообщил нам, что лигнина (ядохимикат, продукт древесных отходов) в Щучьем заливе водолазы нашли не так много: Ладога сама выволокла его. Но он, лигнин, остался где-то в ладожских ямах, он же нерастворимый...

До нас в кабинете у Степанько долго сидел директор завода Баркалов. Степанько сказал, что директор докладывал об итоге простоя завода за год. Убыток выразился в сумме восьми миллионов с чем-то. По этому поводу Виталий Максимович высказался в общегуманном, экологическом смысле:

— Подумать, это такая малость в сравнении с чистым воздухом, водой, какие мы обрели. Эта потеря забудется, а если бы продолжали травить озеро, это невосполнимо.

Завод представлял собою зачарованное царствие тишины. От его обширной территории не исходило какого-либо запаха, дыма, звука. Две его трубы не источали в небо ни грана копоти, не курились. Пуста была площадь у проходной завода; на стендах наглядной агитации кое-что осталось от прежних времен: «дадим стране», «выполним», «навстречу знаменательной дате». Остаточные слова на стенах уснувшего, оставленного населением города.

В зелени тополей, в пустоте чистого воздуха, в безлюдии старые дома заводууправления — краснокирпичные, под черепицей; их построили финны. Вошли в массивную дверь с медной, обтертой до матового блеска тысячами ладоней рукоятью, поднялись в приемную к директору. Секретарша, старая, грузная, озерно-синеглазая, сказала нам — ну да, примерно то же самое, что и администраторша в гостинице:

— Не надо было завод закрывать. Остановили бы на два года, построили бы очистные сооружения. Все бы рабочие, инженеры — за милую душу приняли бы в этом участие. А так инженеры чехлы шьют... Без нашей вискозы вы же себе трусов не купите. Вон я была в магазине, мне говорят, осталось белья чуть-чуть, продадим — и все. Посмотрите, на территории сосны растут, сколько зелени, цветов... Вредное производство... Я всю жизнь на заводе и никакого вреда. Такой, как наш, один был завод. Говорят, еще построят, но когда это будет? Не надо было завод закрывать! Спросите у любого рабочего, он вам то же скажет!

Мы возразили секретарше в том смысле, что белье пусть делают из хлопка. Надо думать о сохранности природы. О Ладоге. О воде для Ленинграда.

— Да ничего с ней не случилось, с водой, — вздохнула старая женщина, ветеран Приозерского целлюлозного. — Люди же учились, и квалификация, и льготы за вредность, некоторым до пенсии года не

хватило. Нельзя же так сразу. Пусть бы министр Бусыгин раньше подумал, с него бы и спросить.

В отношении министра что правда, то правда.

Директор Баркалов был подготовлен к разговору с нами, сразу заметил, что все уже описано, сказано, известно, что он остался вместе с коллективом — для сохранения психологического климата, — что климат сохранен, никто не обижен: с октября 1986-го (с закрытия) по июнь 1987-го платили по среднему. Было 2000 работников, осталось 1500. А дальше... на заводе пустят две линии: древесноволокнистых и древесно-стружечных плиток. Из плиток станут делать мебель. На заводе будет пахнуть не серой, не химией, а древесиной.

Здесь в скобках заметим, что Алексей Владимирович Баркалов пришел директором на Приозерский завод незадолго до его закрытия, понятно, что как целлюлозник был против закрытия. До того директорствовал на Ляскельском целлюлозно-бумажном заводе.

И еще: весной 1988 года рабочие и инженеры Приозерского — теперь уже мебельно-деревобрабатывающего — завода обратились через «Ленинградскую правду» с открытым письмом в министерство: перепрофилирование завода идет недопустимо медленно, новое производство не налаживается, социальные и другие вопросы не решаются. Министр в статье заверил, что в 1988 году Приозерский мебельно-деревобрабатывающий завод выйдет на запроектированную мощность. Как это произойдет — предмет для особого внимания.

Осенью 1987 года директор Баркалов был настроен... не то чтобы оптимистически, но какая-то отчаянная решимость проблескивала в его глазах, будто человек сказал себе: «А, была не была!» Алексей Владимирович выложил нам с Фирсовым две важные для него идеи. Одну, быть может, ему внушили. Идея такая:

— Надо было где-то начать, показать всем перестройку в действии. Вот у нас и начали, показали, что новое отношение к экологии, к охране природы — это всерьез.

Вторая идея его собственная:

— Когда я учился, мне же внушили, что капиталист — это хищник, расхищает народное и природное добро. А у нас все, что ни делается, на общее благо. А вон как все обернулось. Оказалось, что с природой по-варварски обходимся.

Правильный вывод — в пользу того, кто его сделал.

Но от правильных выводов, равно как и от принятых постановлений, вода в Ладоге чище не станет. Нужен человек действия — во спасение Ладоги, такой, как Юрий Сергеевич Занин. Это он может сегодня зачерпнуть в свою пробирку воды из Щучьего залива, поглядеть на просвет, сравнить, какая была, какая стала, и возликовать душой: не зря потрачены силы, годы, нервы, сама жизнь. Вот она, моя награда!

Хотя для ликования все нет причин. Дроздово озеро, площадью в 74 гектара, с многотонной массой взвешенных в нем разнообразных токсических веществ, продолжает оставаться резервуаром-накопителем для городских стоков; вся эта дрянь стекает в Щучий залив. Не так, как прежде хлестало... Но что поделать с Дроздовым озером? Всех удовлетворяющего комплексного плана нет.

Немыслимая сентябрьская синева Ладожского озера. Оглаженность, плавность, женственность «бараньих лбов», окунувшихся в воду. Плывущие по небу облака. То дождь, то солнце. Многооттенчатая прозелень хвойных берегов. В щелях меж камнями сосенки, с короткой, как у елок, хвоей, можжевельник, лиловый багульник, голубичник с брусничником. Побуревшие рябинки. Хребты островов в прозрачности окоема. Неподалеку от берега ставной невод: колья над водой. Подле ставника станица белых чаек-рыбодок. Тихий плеск воды о камень.

Памятник погибшему инструктору туризма Кольцову. Пошли втроем на байдарке. Штормило. Перевернуло байдарку. Один турист умел плавать, другой не умел. Инструктор туризма остался с неумевшим; держались за байдарку, надеялись, что принесет к берегу. Унесло в открытую Ладогу...

Озеро помалкивает. Озеро шебаршит о камень. Синева озера насыщеннее, ярче размытой синевы небесной.

Бараньи лбы серы, белесоваты, розовы, в зелени мхов. Западный легкий ветер срывает с берез желтые листья, уносит их в озеро...

Вчера ездили в госплемзавод «Петровский». Среди карельских боров, с тонкоствольными — на каменной подошве — соснами, с белыми мхами вдруг раскрывались тучно-зеленые поляны (где поляна, там и озерко — осколок Ладоги). Черно-пестрые коровы здешней породы, окруженные тонкой проволочиной электропастуха, обращали к нам свои добрые коровьи морды. В одном стаде были нетели, в другом первотелки. После искусственного осеменения и всего последующего надлежало каждой из них отдавать не менее 6000 литров молока в год — такова контрольная цифра в «Петровском». Которая из коров не выполнит назначенную норму, ту продадут. Цена такой корове — 3000 рублей. В другом хозяйстве она подаст пример высоких надоев, а в «Петровском», будь ласкова, дай 6000 литров. То есть взяли обязательство надоить по 7000, но нынче сильно мокрое лето, а это не полезно.

За здешнего быка на аукционе, на ВДНХ, дали 7000 рублей. Может, кто и еще бы надбавил, но установили потолок: 7000.

Чего только нет на Ладоге, на ее берегах, островах. Помните? Приладожье превосходит по площади Великобританию. Но та вся расчерчена дорогами, а здесь... На северном берегу, в шхерном краю, в Сортавале нам рассказали историю — из уже полузабытых, но чем-то трогающих душу времен. В воскресенье компания погрузилась в «казанку», отправилась на один из островов повеселиться. Недовеселились... А тогда можно было сгонять в торговую точку, добавить. Одни остались на острове, другие вихрем умчались (на «казанке» два мотора «вихря»). Вмиг слетали, причалили к острову, а

остров оказался не тот. К другому причалили, — и там компания другая. Множество островов обежали — без проку. Так ни с чем и домой вернулись, а те, что остались, еще сколько-то куковали на острове: оттуда не докричишься. Вот сколько островов на Ладоге, в шхерном краю!

Когда из Сортавалы плывешь на Валаам, на рейсовом теплоходе, — долго-долго плыть до открытого озера. Открываются взору виденья, как миражи: серокаменные стены, гранитные глыбы — каждая из них сгодилась бы в постамент памятника Петру на Сенатской площади (ежели бы не нашли в свое время глыбу поближе); какая-то особенно сочная — Ладогой напоенная — зелень хвои на берегах; белые свечи березняков; первые мазки охры; малоподвижная, будто в колодцах настоявшаяся, потемневшая в непогожий день и все равно с голубизною вода. При выходе из бухты — три зубца, три клыка выставились из воды. Как «Три брата» у ворот Авачинской губы на Камчатке. Вплываешь в бухту на обратном пути с Валаама (в летнее время с ночлегом на острове туго) — все видимое вокруг опояшется ало-лиловой каймою зари; вода засветится каким-то глубинным светом, будто на дне факельное шествие; леса и скалы станут ультрамариновыми... Здесь жил в молодости Николай Рерих, отсюда увез в Гималаи первотона своих красок...

В Лахденпохье запомнилось удивительное сожительство — симбиоз сосен с розовеющими, в блестках слюды, гранитами; корни деревьев, как тысячепалые руки, оплели, вцепились в прямоугольные скалы, ища в расселинах почву — гумус. Так же и люди приникли к озеру...

А в Ляскеле... На мосту через реку Янис-йоки так жутко было смотреть на пенный, вонючий поток с «токсикантами»: фенолом, лигнином, черт знает с чем — с Ляскельского целлюлозного завода. По берегу реки проложен цинковый водовод; по нему доставляют воду с верховья реки: ее пить можно, а ту, что ниже завода, нельзя.

В Импилахти...

Восемь часов утра. Пролетели строем чайки, по виду сытые, озерные, ладожские, шхерные. Скворцы обсели вершину лиственницы, вдруг, с упругим фырканием крылышек, снялись.

Ночью текло тепло от истопленной хорошими дровами печки. На дворе шуршал дождь. Сон получился тоже теплый, без сновидений...

В Импилахти — база Института озероведения Академии наук. Долгие разговоры под шелест дождя, потрескивание горящих поленьев в печи — с научным руководителем экспедиции Ниной Анатольевной Петровой, гидрологом Александром Михайловичем Крючковым. Все о том же, о Ладоге... Если бы у озероведов был хотя бы один корабль науки, какие есть у финнов (не говоря о шведах), чтобы все накопленные об озере данные ввести бы в машину, получить общий итог, вывести закономерности, высчитать математически точный прогноз. И еще многое другое, без чего исследования на Ладоге не так эффективны, как требует ладожская ситуация. Такого корабля нет ни одного на озере. Не курьез ли? Озероведы работают на уровне ведра и пробирки, как в дедовские времена. Исследования озера разобщены, розданы по институтам, ведомственным службам. Публикация данных исследований крайне затруднена. Мы все еще боимся сказать правду о Ладоге, даже самим себе.

Рекомендации ученых тем, от кого зависит здоровье озера — строителям, агропрому, бумажникам–целлюлозникам, объединению «Ленлес», пароходству и прочая и прочая, — мягко говоря, не обязательны для исполнения.

Конечно, постановление ЦК КПСС по Ладоге возымело свое действие: в Институте озероведения разработана программа «Ладога». В ней, кажется, все учтено, дабы привести антропогенный фактор в соответствие с жизненным ресурсом озера. Но это — на будущее, а нынче, в конкретном случае, даже в простейшем деле — что изменилось? Наша беседа с учеными–озероведцами в Импилахти проходила в минорном тоне.

Суденышки Института озероведения, как правило, переоборудованные из сейнеров, сетеподъемников, мечутся по озеру из потребности сдать... «бытовые отходы». Таковые принимаются в Сортавале, и то не всегда. Пересечь озеро в штормовую погоду — знаете, что это такое? А другие суда — рыбацкие, транспортные, пассажирские, они–то куда сдают свое «добро»? Ведь не у всех же

«замкнутый цикл»... Вот вам и еще курьез. Движение по ладожским фарватерам нынче чуть ли не как по Невскому проспекту. Вода в истоке Невы подернута нефтяною пленкой, так и втекает в город. По данным Института озераведения, суда всех видов ежегодно сбрасывают в Ладогу 12 000 тонн нефтепродуктов. Летом 1987 года воду в Неве, в районе Петрокрепости, Новосаратовки, при исследовании отнесли к пятому классу (пятый класс: все виды водопользования, кроме судоходства, запрещены). А мы эту воду пьем...

Сколько обаяния, единственной в своем роде поэзии запечатали в себе Ладожские каналы — старый петровский и «новый», доселе судоходный, однако обрушенный, пришедший в ветхость. Из прохудившихся берегов канальных, как ребра скелетов, выпростались будылья свай, лозы фашичника — как бы послание нам от наших предков, напоминание о благодетельных их трудах, еще и нам послуживших... Вспомним, что рытьем первого канала при Петре ведал Ганнибал, пращур Пушкина... Каналы дали жизнь, сообщили совершенно особенный колорит таким типично ладожским поселениям, как Новая Ладога, Свирица, Загубье, Кобона; Шлиссельбург — Петрокрепость невозможно представить себе без каналов; здесь, собственно, начинался путь из Невы округ Ладоги. Редкий парходчик решался совать свой нос в штормовую Ладогу. Барочник и подавно.

А мы? Вместо того чтобы приноровиться к условиям судоходства на канале, его строителями заданным, запустили в канал плавсредства с такими оборотами винта, что дно переверотило, берега размыло волной. Это в новом канале. А старый, петровский? Ведь и он был проточный... У самого основания, в Петрокрепости, старый канал перекрыли дамбой: не нашли средства на строительство моста, по дамбе переезжают с берега на берег. А то, что разрушили рукотворный памятник Петровской эпохи, что вместо проточной воды образовалась зарастающая чем попало лужа, что изменился сам микроклимат — в смысле санитарного состояния (и психологии тоже) — в старинном русском городе — историческом памятнике, повесили носы и ревнители «Орешка», — это с кого спросить? Кто кинул первый камень в старый петровский канал?

Странное дело: в наше время немислимо возросло антропогенное воздействие на водоемы. Водоемы перекормлены (эвтрофированы) биогенами. Значит, что же? Ответ, казалось бы, ясен и неспециалисту: прежде всего надо бороться с застоем, делать все для того, чтобы вода текла без помех, обновлялась. А мы строим дамбы, плотины. Ни одно другое время не знало такого форсированного строительства мешающих воде течь сооружений, как наше. Где логика, здравый смысл? Их преодолела «узкая специализация», то есть ведомственная самонадеянность.

Вечером в Импилахти мы разговаривали с учеными–озероведами и об этом, — такие милые люди, так много знают об озере, то есть все знают, но между знанием и практическими мерами по спасению Ладоги продолжает оставаться нечто — непреодолимая стена. Технологическое мышление преобладает над экологическим. Предприятия не сообщают, сколько чего сбросили в воду. И сами не знают. Санэпидслужба контролирует только водозаборы, хотя вода в Ладоге перемешивается, постоянно меняет свои характеристики.

Подсчитано, что ежегодно в озеро поступает около 8000 тонн фосфора (в середине шестидесятых годов поступало 2 500). Это — предел; большего количества фосфора озеру не освоить, дальше — кислородное голодание, гибель всего живого. По если все пойдет дальше, как шло до сих пор (так и идет), к 2000 году фосфорная добавка к ладожской воде достигнет 11 000 тонн.

Правда, есть и обещающие сдвиги. Так, Волховский алюминиевый завод, до сего времени главный поставщик фосфора в Волхов и Ладогу, уменьшил сбросы: на заводе всерьез занялись безотходной технологией.

Однако на памяти у меня довольно–таки удручающая картина: неподалеку от моста через Волхов, в черте города Волхова, прямая протока — из недр алюминиевого завода в реку; по протоке хлещет белесовато–бурая пахучая струя. Мы постояли над этой струей с волховским лесничим Петром Григорьевичем Антиповым. Он сказал: «После войны, когда мыла не было, мама ходила на заводские стоки белье стирать, в них щелочи много... Я звонил в санэпидстанцию — и ничего...»

Волховский алюминиевый убавил выдаваемую Ладоге лепту фосфора (по свидетельству озероведов), а вот гиганты агропрома (и

середняки тоже) кормят нас мясом, птицей и озеро прикармливают все тем же фосфором, азотом. Думают об утилизации животноводческих отходов: поля запахивания, с посеянной на них травкой — отлично! Но с полей—то куда течет? В Ладогу. Многотонную массу всевозможных пестицидов вносит агропром на пашню и луга нашей области. Соединяясь в стоках, пестициды образуют нечто непредвиденное, никак не улавливаемое, весьма опасное для здоровья. Сколько чего течет — кто знает? А никто.

Мелиораторы на юге Карелии капитально осушили болота, должно быть, получили за это поощрение от Минводхоза. Но свершилось непоправимое для природы: нарушилась тысячелетиями отлаженная фильтрация почвенных вод в болотах. По канавам—осушителям потекла в озеро торфяная жижа, содержащая в себе и фосфор, и лигнин, и бог знает что! Прибрежье озера превратилось в топь, пошли в рост сине—зеленые водоросли, чапыга. Чистая вода отступила, продолжает отступать. Уменьшается зеркало озера — и довольно быстро.

Пожалуй, самое печальное впечатление от нашего с фотокорреспондентом Фирсовым путешествия вокруг Ладоги — это ведра, баки, кадушки, корыта на лавочке у каждого дома в селеньях на южном побережье, за Олонцом. Озеро под боком, а питьевую и для домашних нужд воду привозят из—за тридевяти земель. Вот и дожили! Вот вам и самое чистое озеро в Европе!

Именно сюда хаживал на нерест ладожский сиг—лудога. Сиг питается рачками, рачки живут в богатой кислородом воде. Сине—зеленые водоросли, возросшие на фосфорном удобрении, изымают кислород из воды. Так что... Выпадет одно звено, цепь не свяжешь. Рыболовецкий колхоз имени Калинина на Ладоге в семидесятые годы лавливал в день по пятнадцать тонн сига, а нынче хорошо, если поймает тонну.

Ладога холодна, в августе прогревается до восьми градусов в среднем, в марте температура понижается до полградуса выше нуля. На двухсотметровых глубинах и того меньше. Экопроцессы в озере замедлены (на прогреваемых мелководьях они протекают быстрее). На это и надеялись, беспощадно перегружая Ладогу, отводя ей роль гигантской природной сточной ямы (вряд ли так думали, но так вышло), — на громадность акватории, глубоководность и

охлажденность. Но как замедлены в холодной ладожской воде на больших глубинах процессы ассимиляции минералов, органики, так же долго, трудно и очищение воды, о котором печемся, как о самоспасении.

Наиболее минерализован, насыщен органикой главный приток озера Волхов. Мало в чем отстает от него и Сясь ниже Сясьского бумкомбината — первенца нашего бумагоделания (сейчас там производят бытовые бумаги, картон). Давайте вспомним, что на материале строительства бумкомбината на Сяси в свое время написан роман Леонида Леонова «Соть». Мог ли тогда подумать писатель, как все обернется через какие-то полвека...

Зимой подо льдом, нетревожимые волнением на озере воды Волхова, Сяси прямехонько текут в Неву, изливаются из кранов в наших жилищах.

В Свири пока что вода не так плоха. Хотя переезжаешь главные притоки Свири: Оять, Нашу — видишь несметные полчища топляков — высунули головы из воды, будто реки минированы. А сколько еще на дне! И так до истоков самых чистых наших рек, текущих с Вепсовской возвышенности — по ним пролегли пути на нерест ладожского лосося, который нынче то ли есть, то ли нет, в руках его давно уж никто не держал. Лесосплав в Ленинградской области закрыли, но несчитанные кубометры утонувшей древесины годами, десятилетиями отравляют воду дубильными веществами, фенолами.

Чем же мне закончить этот плач по Ладоге? Слезы не продуктивны для дела... Из множества высказываний сведущих ответственных, лиц выберу наиболее категорическое, по существу: если мы не уберем с Ладоги стоки целлюлозно-бумажной промышленности, спасти нам ее не удастся. Можно обсуждать проблемы контроля, концентрации загрязнений, согласовывать показатели, а все равно уровень технологии очистки в этой отрасли настолько низок, что загрязнения останутся. Перед нами альтернатива: или перевод предприятий отрасли на оборотное водоснабжение, или их вывод из бассейна Ладоги, репрофилирование. А поскольку первое пока не достижимо, остается второе.

Именно этого добивался и доктор Занин. Добился. Ладоге чуточку легче стало дышать.

И еще: необходимо прекратить всякую мелиорацию в зоне ладожского водосбора. Прекратить рубку леса в Приладожье, откуда реки текут; не распахивать угодья по берегам; посадить лес на прибрежных пустошах — так было от века; свою чистоту Ладога блюла как озеро лесное. Потребовать с каждого предприятия уменьшить сбросы, усилить их доочистку. Строго карать судоводителей за выпуск в озеро нефтепродуктов и прочего. Очистить реки от топляка. Установить строгий режим складирования (хотя бы!) химикатов. Предписать Госстрою и агропрому неукоснительное соблюдение программы Института озероведения «Ладога»...

Вышли к Ладоге. Прикоснулись. Округлая бухта. Мелкопесчаный пляж. Прозрачная вода булькает в берег. Низкие острова вдали, в умеренном солнечном мареве. Торчат из воды четыре черных камня. Дует ладожский бриз. Низко над водой летают две трясогузки, играют. Слева мыс, справа мыс. На мысах березы, осины, лоза. Листы недвижны, зелены, чуть занялись первоосенним палом. Озеро дышит, молчит.

Чем знаменита Ладога? А собственно, водою...

В ладожской воде — жизнь великого города. Давайте посмотрим этой — главной — правде в глаза.

ОЗЕРО — ЕГО СУДЬБА

На Ладоге есть приметные, каждому озерному жителю ведомые места — ориентиры, с собственной физиономией, характером, судьбой. Ну, например, Стороженский маяк на Избушечном мысу, при выходе из Свирской губы в открытое озеро, к западу; при маяке село Сторожно (или маяк при селе) — старинное, ладожское, рыбацкое. Бывало, помню, и дороги проезжей в Сторожно не было. Идешь по селу, на крылечке каждой избы сидят, натопорщили усы, особенные рыбацкие коты, рыбой сытые, на рыбе возросшие, с гладкой, чистой, лоснящейся шерстью, с выражением на мордах какого-то абсолютного котовьего высокомерия.

Примерно такое же выражение прочитывалось на лицах стороженских рыбаков, когда встречались в озере с соседями — загубскими: рыбацкая родословная у стороженских много глубже, чем у загубских; стороженские от дедов и прадедов знали, где сиговые ямы, где ставить сети на сига; загубские бегали туда-сюда, кидали, где бог им на душу положит. Неравный был улов в Стороженской и Загубской бригадах рыболовецкого колхоза имени Калинина.

Загубские ходили в озеро на деревянной мотоёле, стороженские на железном сейнере. В озере встретятся, а у стороженских двигатель мощнее, догонят загубских, близко пройдут и смотрят с высокого своего борта с высокомерием, как стороженские коты на прохожего. А те еще что-нибудь такое скажут: «Буя, ребята, не попадало? У нас буй пропал...» Или еще что скажут, а то молча пройдут, только поглядят свысока.

Потом дорогу построили. То ли она вытянула из Сторожно потомков рыбацких кровей, то ли поток приезжих любителей рыбы подмыл устои рыбацкой степенности, то ли озеро обезрыбело (это главное!)... Бригада Стороженская захирела. И в Загубье не ахти. Упал улов ценной рыбы — сига с судаком. Летом 1988 года в Стороженской бригаде при плане 1260 центнеров выловили 530 (данные на июль). В Загубье — Свирице при плане 1570 центнеров в сеть попало 395.

Да, так вот Сторожно, Стороженский маяк. Все это место знают. Или взять Лисью протоку, при входе в Свирскую губу, по правую руку,

ежели по Свири спускаться. В эти — природой для уток с гусями предназначенные — места езживал на охоту Сергей Миронович Киров. И вот он однажды приехал, в непогоду, в октябре... (Пять процентов водного баланса в Ладоге — из осадков.) Видит, на Лисьей рыбаки так и спят в своих лодках с парусами. Киров распорядился построить для рыбаков барак. И построили. После куда-то перевезли, чуть не в Свирицу, под клуб. Все знают Лисью протоку.

И еще в чести на Ладоге всевозможные «носки». Нигде в другом месте о «носках» я не слыхивал, только у нас на Ладоге. Носком называют здесь мызок суши при впадении реки (канала) в озеро или в другое речное русло. Значит, в устье каждой реки два носка. Почти каждый носок на Ладоге хоть чем-нибудь да знаменит. Так, носок Ояти, при впадении ее в Свирь, ниже Доможирова, у самого уреза воды, знаменит тем, что здесь жил всем известный на Ладоге рыбак, специалист по лососю, Степа Волков. То есть звали его Степаном Васильевичем, но вошел он в предание, в молву, в изустную историю Ладоги под ласковой кличкой «Степа», потому что был тороват (как в пословице сказано: «Не проси у богатого, проси у тороватого»), никому на хвост не наступал, на чужое не зарился, брал свой фарт (удачу) тем, что знал озеро, повадки рыб, в нем живущих, как знает ниву тороватый хлебопашец.

Про Степу Волкова говорят, что в первые послевоенные годы он, бывало, наловит лососей, погрузит в трехтонку ЗИС-5, привезет в Ленинград, в ресторан «Метрополь» и сгрузит их там, как чурки. Лососи пудовые попадали Волкову в сети. Ну, конечно, не от себя он ловил, командовал рыбацкой артелью в подсобном хозяйстве треста «Ленлес». В артели у Степы Волкова все больше старики, инвалиды войны...

Свидетельствую об этом ладожском реликте как очевидец. И на носке у Волкова я бывал; право на это дала мне дружба моего отца Александра Ивановича со Степаном Васильевичем. Отец в те годы был управляющим трестом «Ленлес», Волков — рыбаком. В связи с «Ленинградским делом» отца сняли с работы, исключили из партии, однако не посадили. Отец спасся тем, что его взял на работу («разоблаченных» на работу не брали) главным инженером директор Лодейпольского леспромхоза Иван Васильевич Иванов. Думаю, что это было не так-то просто Ивану Васильевичу...

В начале пятидесятых годов я приезжал к отцу в Лодейное Поле, он жил в том доме, где помещалась контора леспромхоза, в комнатухе под лестницей, предназначенной для уборщицы. Случалось, мы с отцом ездили к Волкову на носок: на дружеские отношения со Степой изменившиеся обстоятельства в служебном положении отца никак не повлияли.

Что запомнилось, уху Степа Волков не ел; особенным образом варил картошку: в котел клались судаки, сваривались и отдавались собакам; в кипящий судачий бульон погружалась картошка; бульон сливался в траву; каждая картошина выходила янтарного цвета, напитанная рыбьим жиром.

Степу Волкова знали все на Ладоге, как знают Стороженский маяк, Лисью протоку, Кандошское озерко против Оятского устья — место кормежки гусей на перелете. Нынче гуси, как чайки, сообразили, что корм на полях. Тут их нещадно бьют, да еще гуси всякой химии наглатываются.

Знали на Ладоге и Павла Александровича Нечесанова — директора Пашской сплавной конторы, Героя Социалистического Труда. Тоже был, как Степа Волков, детинушка крупной стати, ветрами продубленный, крутого характера, синеглазый. Все, что плыло тогда по свирским притокам, по Свири–матушке, по Ладожскому каналу в Ленинград: древесина на стройку, топливо — было под нечесановской рукой. И моего отца — «короля дров» — тоже знали тогда на Ладоге. Лес был главным для жизнестроительства материалом; без леса не построишь и рыбацкую шаланду — мотоёлу. Что лесу тонуло, во что воде обходилось, о том не думали. С Нечесановым, бывало, поедем весной по сплавным рекам, он рассуждает — в упоении своего непреходящего трудового энтузиазма: «Мы работаем на реках, плотины строим, чистим, регулируем. Где мы работаем, там и жизнь, там и рыба. Не будем работать, и жизнь замрет. Получится упрощение». В этом была правда. Не вся. Правда времени, определяемая государственным интересом. Оставившие по себе память ладожские мужики все обладали государственными умами.

Нынче сохранившиеся на реках от лесосплава плотины (их немного) переданы Новоладожскому рыболовецкому колхозу имени Калинина.

Из плеяды ладожских корифеев поныне сохранился Алексей Николаевич Суханов, председатель рыболовецкого колхоза с 1960 года по 1986-й. Исчерпал ресурс на главной должности, стал сдавать... но с родным колхозом не расстался, ныне заместитель председателя по кадрам и быту. Резко разлучить человека с делом его жизни — худо и для дела, и для человека. Однако время неумолимо...

Суханов родом с Ильменя, из красивого села Коростынь, на яру над озером вознесенного. Росту он саженого, плечи у него такой ширины, что, надо думать, в кубрики — смолоду на флоте — бочком протискивался. Глаза озерного цвета, как у всех на Ладого (и на Ильмене); днем на свету вроде и незаметно; в сумерках такое впечатление, будто на глазах у человека стеклышки бирюзового цвета. В войну воевал на Ладого, после войны плавал на Балтике. В 1948 году демобилизовался инвалидом 1-й группы, однако выдюжил, вернулся в Новую Ладого капитаном рыболовецкого флота. Тогда флот принадлежал государству, владели им МРС — моторно-рыболовецкие станции, как в сельском хозяйстве МТС.

На Ладого было тогда шестнадцать мелких рыболовецких колхозов: «Сясьская форель», «Красный пограничник», имени Буденного, «На страже», «Большевик», «Лисья»... Суханов все помнит, я с его слов записывал, чего-то не уловил. Суханов колхозы объединял, в два этапа, — под эгиду «одного хозяина на Ладого» (его идея): новолadoжского колхоза имени Калинина. Был ярим сторонником передачи флота колхозу. То есть не передачи: суда покупали; в должниках у государства председатель колхоза имени Калинина не хаживал. Свой судоремонтный завод построил; можно счесть его и верфью для наших внутренних водоемов. Здесь долго рассказывать — столько всего наговорил мне Алексей Николаевич Суханов, целый блокнот исписан; с любого места бери, все важно; неважного, почитай, и не было в трудах этого государственного мужа, ладожского реликта.

Надо сказать, что в войну рыба в Ладого расплодилась, ее ловили самую малость; в послевоенные годы в озеро запустили траловый флот (70 тральщиков), выгребли все чуть не подчистую. Пришлось умерить лов строжайшим пределом-запретом, ждать, когда восстановится стадо. Восстановилось. Главным орудием лова на Ладого стал ставной невод, завезенный сюда с Кубани, с Азова. План

лова колхозу имени Калинина спускался Минрыбхозом в пять тысяч тонн и более. Горячие головы наверху планировали и за шесть тысяч. Так было до середины восьмидесятых годов, когда стал предвидим ничем неостановимый упадок рыбного изобилия в Ладоге — от непомерного вылова и загрязнения воды.

Может быть, первым об этом во весь голос затрубил Суханов — голос у него, как иерихонская труба. То есть, конечно, и наука о рыбе, ГосНИОРХ, Севзапрыбвод — предвидели, прогнозы составляли, графики вычерчивали, диссертации защищали. Но рыбе от этого ни жарко, ни холодно. Сухановский голос в пользу ладожской рыбы — это суть действие, отыскание выхода, предпринятые шаги, всегда рискованные, с предвидением далеко впереди чего-то хорошего, от других пока что сокрытого...

Свой рассказ о ладожской рыбе — и о собственной судьбе — Суханов всегда начинает с того, как... Когда проектировали плотину Волховской ГЭС, в проекте предусмотрели рыбообразовательный завод для волховского сига, здесь же у плотины, дабы плотина не прервала вековечный ход сига на нерест: из Ладоги в Ильмень и в Мету — сиговую реку... О волховском сипе думал Ленин, когда утверждался проект первенца ГОЭЛРО. Однако сипу от этого легче не стало. В громаде планов и их свершений рыбообразовательный заводик потерялся. Его построили, но сколько-нибудь заметно повлиять на рыбные дела в Ладоге и Волхове он не смог, не может. Вспомним: в Приладожье (близехонько от озера) строились «первенцы» нашей индустрии: Волховстрой, Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, Волховский алюминиевый завод. До рыбы руки не дошли...

...Далеко я, бывало, забирался, куда и Макар телят не гонял: в верховья Паши, Ояти, Капши, в вепсовскую тайгу, в болота — и всякий раз встречался с вполне реальными плодами сухановского попечения; иной раз они представлялись безрассудными. Строят плотины в горлах рек, вытекающих из озер, осушают озера, опять обводняют, сыплют в плесо хлорку (вепсы говорят: «хролку») — травят «сорную» рыбу, запускают мальков, где-то за тридевять земель из икринок вылупившихся, по бездорожью на тракторах привезенных (или ожидаемых: вот, должны привезти); и опять что-то сыплют в воду: подкормку. Спросишь: для чего? кому это надо? Ответят: чтобы в Ладогу рыба скатывалась (рыба сиг), чтобы колхозу имени Калинина

было что в озере ловить. Спросишь: кто такое надумал? Ответят: Суханов.

Суть мысли–действия Суханова в том, что ладожскому сигу — с прерванными путями на нерест, с загрязнением воды — самому себя не воспроизвести. Чтобы был сиг в Ладоге, надо ему помочь, создать сиговые питомники. Далее Суханов расскажет о том, как строили хозспособом пруды, как ездил к министру Ишкову, а тот ни бе, ни ме, ни кукареку.

Так много у нас на Северо — Западе чистой пока что воды, почему же никто не печется о том, чтобы вода производила нужную всем нам, для природы полезную рыбу? Лов рыбы на Ладоге пошел на убыль, ничего тут не переменишь, как ни крути. Значит, что же? Надо переходить на рыбоводство, пускать в оборот всю воду, какая есть. Это я излагаю ход мысли Алексея Николаевича Суханова. Человек задался вопросом, ответил на него делом. Столько в Суханове всяческих сил, этой самой предприимчивости, поставленной во главу угла нашим временем перестройки, обновления, социализма — воистину для общего блага.

В Усть — Капше я видел форелевые бассейны и рыбу видел — воплощенную мысль Суханова. На Пашозере форелевое хозяйство дает товарный продукт. Договорились с Сухановым: ужо съездим. Но форель там привозная... (В Капше и других реках на Вепсовской возвышенности ловится своя форель. Однажды я поймал на удочку форелину, уже на берег вытянул; из рук ушла — такая сильная, красивая рыба!) Мечта Суханова — завести в верховьях чистых, быстрых, холодных рек, текущих в Ладогу, лососевые питомники. Вернуть озеру его сокровище — красную рыбу!

Как–то приехал утром в Новую Ладогу, Суханова не застал на его рабочем месте, сказали, он в отпуске. Спросил у мужиков, о чем–то толкующих (о рыбе, о чем еще толковать мужикам в Новой Ладоге) у наплавного моста через канал — его здесь зовут лавами, — где Суханов живет. Мне охотно объяснили: «Вот так поедешь, направо свернешь, там дом большой каменный — «коттедж». В нем Суханов живет». Лавы развели, то есть увели в сторону к берегу, — катер пропускали. Это долгое дело: развести, потом свести. Стоишь у воды, слушаешь чаек, проникаешься мыслью, всеми нами позабытой, что, собственно, спешить–то некуда; полезно осмотреться, призадуматься.

На эту мысль наводит большая вода. Катер прошел каналом; те, что на катере, громкими голосами поблагодарили разводчика лав, помахали руками. Народ на Ладоге добродушный, общительный, ибо труд рыбака — тяжелый. Характер человеку предписывается его трудом. Суханов, помню, как-то сказал:

— С лесниками легче всего было договориться. Они мужики открытые, попусту языками не чешут. Это потому, что много работают. Нынче районные начальники глаз не кажут. Областных мы и не видывали. В кабинетах у себя, что ли, отсиживаются? Раньше, бывало, секретарь райкома — по всем бригадам, каждого рыбака в лицо знал. Да и твой батька тоже... А нынче приедет, хотя бы из нашего управления, — скука у него в глазах, сам не знает, зачем приехал, решить ничего не может...

Да, так вот. Зашел я к Суханову в дом — «коттедж». Хозяин занимался помидорной рассадой. Хозяйка его в колхозе, в тарном цехе бригадиром. Поели жареной корюшки, попили чаю — и поехали туда, куда с первого нашего знакомства Суханов приглашал съездить: в Кириши, в рыбоводное хозяйство — нежно любимое Сухановым его детище.

Собираясь в Кириши, предвкушая нечто в высшей степени душевно приятное, Алексей Николаевич приговаривал, как мурлыкал:

— Поедем к Венере Ивановне. Она нас ухой покормит...

Далее следовал рассказ о том, как по его, Суханова, настоянию, на 1 мая привезли из Киришей в Новую Ладогу форели, на рынке продавали по пять рублей килограмм. И привезли пятерых осетров. Собственно, не осетров, а нечто гибридное: помесь белуги с шипом. Продавали по восемь рублей килограмм. Одного белугошина даже резать не пришлось: мужик его взял целиком, сорок два рубля, не глядя, отдал.

И еще о том, как Суханов ездил на Украину за форельными мальками — там рыбоводством занимаются капитально, не то, что у нас. За белугой и за шипом ездил в Азербайджан. И там и там пошли навстречу, поскольку он им (то есть колхоз имени Калинина, его председатель Суханов) пообещал построить на колхозной верфи необходимые плавсредства — и построил...

— Уловил мысль?

— Уловил.

...Привезенные с Украины мальки форели подросли в волховской, подогретой на ГРЭС воде (весь эффект в том, что подогретая), тут промыли котлы, садки мазутом забило, рыба кверху брюхом всплыла. Можно было взыскать с ГРЭС штраф в размере 116 тысяч рублей. Но Суханов рассудил по-другому: сходил к начальству ГРЭС, договорились впредь рыбу не травить, наладить очистку воды, даже принять долевое участие в строительстве рыбоводного хозяйства. Председатель колхоза проявил себя дипломатом (это было десять лет тому назад); в процессе мирных переговоров выяснилось, что ГРЭС невыгодно конфликтовать с колхозом, наоборот, выгодно жить в мире. Рыба не только хороша сама по себе, но и контролирует чистоту воды, способствует ей...

Технические детали я не все уловил, но из рассказа Суханова вывел: рыбоводное хозяйство в Киришах удалось ввести в общий технологический цикл здешних промышленных гигантов как необходимое звено. Общий интерес возобладал над узковедомственным. Такой редкий случай, даже трудно поверить, особенно в Киришах — болевой точке в экологическом отношении...

Мы с Сухановым ехали левым берегом Волхова, сокрытого от глаз чапыгой, возросшей на месте бывшего здесь от века леса. Весна припоздала, зелень не занялась, только желтели пуховки верб. В одном месте, повыше Гостинополья, Суханов показал приворотить к берегу. Вышли из машины. Мой вожатый указал на чуть возвышающийся над плесом остров; на нем, в neodетых, сквозящих березах, осинах, ивах — краснокирпичный остов, по-видимому, старинного строения.

— Вот видишь, — сказал Суханов, — когда построили, точно не знаю. Построили капитально, на века. И — красиво! Там помещался детский дом. Потом его увезли, здание разрушили, растащили. Крышу сняли...

Суханов стоял над пустынным, свинцового цвета, без признаков жизни Волховом, говорил своим капитанским басом, обращаясь не только ко мне, но и к водам, долам, небесам:

— Живем на своей земле, как варвары. Красоту не видим, не бережем. Что предками нам оставлено, по кирпичику растаскиваем. К природе относимся, как к врагу. Что детям нашим оставим? Воспитывать их на чем, если землю родную, Россию, любить разучились? А? Уловил мысль?

— Уловил.

В Киришах мы с моста не поехали в город, свернули в правобережную промзону, километров десять продирались среди труб, лежащих и стоящих, корпусов, оград, бетона. И вдруг... Нет, Венера Ивановна, начальница рыбоводного хозяйства, ухой нас не накормила: не нашлось ингредиентов для скорой ухи. Однако повстречаться с Венерой Ивановной Алексею Николаевичу было утешно, поглядеть было на что, даже подержать в руках: тяжи кормушки в садке подтянешь, а в кормушке вот такусенькие форельки, в другой — подросшие сеголетки, в третьей — форель товарного вида и веса, в четвертой — карпята ростом с пяточки, в пятой... никого не оказалось; пришлось подымать всю сетку в садке, тогда уже высунулись наружу шипобелужьи, как акульки, хвосты...

Откормочные садки устроены на плаву, на Волхове, в только что вышедшей из емкостей ГРЭС подогретой воде (ее остужают тут на берегу, с помощью фонтанов-распылителей; в водяной пыли — радуги), в устье реки Черной.

Венера Ивановна Янковская сказала, что при плане в сто восемьдесят тонн рыбы нынче дадут 250, к концу пятилетки, глядишь, и к пятистам подберутся. Алексей Николаевич, со свойственным ему максимализмом, заверил, что можно и тысячу взять. Возьмут! Ежели то-то и то-то доделают, того-то и того-то не упустят.

Венера Ивановна Янковская начинала свою рыбоводческую практику на Свирском лососевом заводе, под плотиной Свирской ГЭС. Дело на том заводе так и не развернулось на достойном для ладожского лосося уровне. Дошли до того, что выпускают в Свирь всего двадцать тысяч лососевой молоди в год, а это — мизер. Икру стало не у кого взять: лосося не поймать ни в озере, ни в Свири, ни в Паше, ни в Ояти. А ладожский лосось — особенный...

Здесь, в Киришах, Венера Ивановна Янковская с первого дня, как начали строить рыбоводное хозяйство — по воле и плану Суханова. Территория хозяйства под стать большому заводу. И главное, что поражает: все уже построено. Почти все: огромные кирпичные как бы ангары с рядами ванн, калориферами, воздуходувками — для обогащения воды кислородом. Кормокухни, кормохранилища, отгулочные пруды. Бытовки с душами, красный уголок... И нигде ничто не дымит, ниоткуда никакая дрянь не стекает.

Производственный шум, даже с близлежащих промышленных гигантов, сюда не доносится. Ширь Волхова в панораме. Рябь на воде от жирующей в садках рыбы.

Девушки–рыбоводки говорят, что расставаться с форелью, выращенной из икринки, так жалко. Будто с детьми, упорхнувшими из дому...

Вот, пожалуй, и все о Киришском рыболовецком хозяйстве рыболовецкого колхоза имени Калинина. Стоит добавить, что многим хозяйство обязано таланту колхозного рыбоведа Алексея Алексеевича Иванцова — он подался в науку. И еще: Венера Ивановна твердо пообещала, что на будущий год здесь в хозяйстве наладят переработку рыбы, уже назначена цена за банку консервированной форели — три рубля.

Вернулись мы с Сухановым в Новую Ладугу (от Киришей до Новой Ладуги около ста километров), зашли в колхозную столовую пообедать. В меню там рыба и не ночевала. Я поделился с бывшим председателем колхоза (нынче зампредом) своим недоумением: как же так, по пять тысяч тонн рыбы в год вылавливают, а своего же рыбака в колхозной столовой накормить ухой из леща — ни–ни? И почему не торгуют в ладожской рыбацкой столице — Новой Ладоге — свежей рыбой — не замороженной, не засоленной (белугошип и форель на 1 мая — исключение) — с живою ладожской голубизною в чешуе?..

Суханов вздохнул, махнул рукой:

— Пробовали. Говорили. Категорически запрещено.

Давайте понадеемся, что это антирыбное — и бесчеловечное — правило наконец отпадет. Такая простая, кажется, мысль: всякая рыба тем хуже, чем дальше уехала от родного ей водоема; самая лучшая уха из той самой воды, откуда и рыба. И — съездим в Новую Ладугу на уху (за два с половиной часа можно доехать)! Право, это величайшее отдохновение для души побывать в новолadoжском межканалье, повидать, как вдруг посветлеет, засеребрится в общем–то сумеречный Волхов, переливаясь в бескрайнюю голубизну Ладоги...

Только жаль, что недавно сгорела церковь, построенная в Новой Ладоге Александром Васильевичем Суворовым; великий полководец здесь служил в самом начале своей военной карьеры. В церкви размещалось лакокрасочное производство — горело споро. Поговаривают, что восстановят...

Итак, до новых встреч в Новой Ладоге! Многих лет новолadoжскому ветерану Алексею Николаевичу Суханову, посвятившему свою судьбу озеру — сокровищу России на все времена!

КИРИШИ: «БЕЛОК НА СРЕЗЕ ТРУБЫ НА НУЛЕ»

Именно так и сказал главврач Ленинградской областной санэпидслужбы И. Малеванный на митинге трудящихся города Кириши 1-го июня 1988 года, в День защиты детей: «Белок на срезе трубы на нуле». Для непосвященных малопонятно. Внесем ясность. Доктор Малеванный имел в виду следующее: год тому назад нефтепереработчики, энергетики, химики и просто горожане Киришей вышли на демонстрацию протеста против отравления биосферы выбросами биохимического завода, производящего белково-витаминный концентрат (БВК). Поступление в окружающую среду частиц белка — паприна — привело к аллергическим заболеваниям в городе, прежде всего у детей. Завод остановили на реконструкцию; по одним данным, технология стала безотходной, по другим — малоотходной. Ныне испытывают новую технологию производства БВК. На ком испытывают?..

Изрядно отягощенные горьким опытом, жители Киришей не поверили главврачу санэпидслужбы. Да и как поверишь, если вслед за доктором Малеванным с импровизированной трибуны на площади — грузовика с откинутыми бортами — выступил представитель официальной науки Э. Слепян. Он предложил... выращивать такие деревья, кустарники, травы, чтобы они поглощали из атмосферы вредные вещества. Он посоветовал... копать траншеи — тоже что-нибудь поглотят... Значит, есть в воздухе нечто, что следует поглощать... Кому же верить?

Главного врача Киришской центральной районной больницы В. Есиповского, первым забившего тревогу по поводу аллергической угрозы, исходящей от БХЗ, отстранили от должности по настоянию облздрави и горисполкома: с пристрастием поискали упущения по службе — и нашли. Отстранили и его ближайших коллег...

Стою на площади города Кириши, распахнутой к Волхову, в напоенный цветущей сиренью вечер раннего лета, в толпе людей, тесно стоящих, но не мешающих друг другу, очень сосредоточенных, без улыбок. Организаторы митинга — ставшая известной на всю

страну киришская Шестая секция (в обществе охраны природы пять секций; в Киришах учредили Шестую) и горисполком. Сосчитали, что собралось на площади восемь тысяч горожан. Но это только в обозримом пространстве. Площадь радиофицирована, голоса ораторов разносятся далеко окрест. Всюду стоят люди, слушают, молчат, задумались.

Выступает пожилая женщина, учительница. У нее умер внук: от аллергического заболевания нет радикального средства. В ее идущих от сердца словах спокойная мудрость возобладала над неутешной горестью. В чем высшая ценность — в близкой экономической выгоде (на БХЗ ее пока не видать) или в здоровье наших детей — в нашем будущем?..

Площадь отзывается чутко, гудит, рукоплещет.

Выступает рабочий. Взывает к исторической памяти: вот здесь, на берегах седого Волхова, пустила корни для долгой жизни первоначальная Русь. По этой реке пролегал путь из варяг в греки. В войну с фашизмом эта земля полита кровью, засеяна костями ее защитников. Свежи в памяти дела, имена строителей молодого социалистического города Кириши, для счастья людей возведенного на древней земле. У человека одно понятие о счастье, у ведомства — другое.

Над толпой транспаранты: «БВК — лысенковщина 80-х годов!», «Долой власть ведомств!..»

Министерство медбиопрома не посчиталось с экологическими последствиями производства белково-витаминного концентрата; построили завод по сути в черте города с шестидесятитысячным населением. Да особо и не считали: делали все впервые, такого раньше нигде не было — это вдохновляло; рубили с плеча, торопились с отчетом. Первый директор БХЗ В. Быков сел в кресло министра медбиопрома... Последствия оказались угрожающими... И не видать покуда прибавки в мясе — от БВК...

Митинг на площади в Киришах длится час, другой, третий. Хлынул ливень, но не сбил взятого тона, никто не ушел. И ни одного дымка над головами: закуривать некогда, надо слушать, думать, решать — вот здесь, всем вместе. Трибуна открыта каждому; реакция на мысль, слово, позицию — мгновенна я однозначна. Людям нужна только правда. В ответ на полуправду, равно как и на полуобман, над

площадью разносится мощное тысячеголосое: «Долой!» Это — слово из нашей революционной митинговой молодости. Кто-то из выступающих вспомнил, что Ленин почитал митинговую демократию за высшую ее форму.

Митинг в Киришах над Волховом в День защиты детей чем-то напоминает Новгородское вече. До Новгорода отсюда рукой подать...

Заверения санэпидслужбы, ведомственной науки в том, что при новой технологии производство на биохимическом заводе экологически безвредно, неосновательны: нет таких датчиков, дабы фиксировать все, что имеет место «на срезе трубы» в течение суток, нет гарантированной защиты от аллергенов, попавших в почву и воду. И главное, нет у киришских борцов за чистый воздух — их тысячи — доверия к обещаниям ведомства.

Затянувшийся, весьма драматический экологический узел в Киришах возник и продолжает свое губительное воздействие на самочувствие людей потому, что на нуле оказалась способность минмедбиопроба, идущих у него на поводу местных властей — прислушаться к голосу масс, заговорить с людьми на языке полной откровенности — во имя общего блага. Ведомственная амбиция в Киришах возобладала над демократией.

Киришской проблемы коснулся в своей речи на XIX Всесоюзной конференции КПСС председатель Государственного комитета СССР по охране природы Ф. Т. Моргун. То есть он упомянул Кириши в ряду других городов, где от химических производств «отмахиваются, как от назойливых мух». Обращаясь к тем, кто проектирует, вершит производство, Ф. Т. Моргун заострил внимание именно на той острейшей проблеме, которая привела в Киришах к драматическому конфликту народа с ведомством, властью. «Ведь отказываются не отдельные, как вы часто утверждаете, непросвещенные дилетанты, а повсеместно отбивается народ, а народу в мудрости не откажешь. И не прикрывайтесь ссылками на ранее принятые решения. Еще древние знали: плох тот закон или решение, которое нельзя отменить или изменить».

В принятой на митинге в Киришах резолюции первым пунктом значится — перепрофилирование биохимического завода на безотходное производство, передача его мощностей — что важно! — другому министерству. Минмедбиопробу в Киришах не верят, хотя в

министрах — земляк. Воз с места не стронешь без доверия. Как его вдохнуть в отравленную киришскую атмосферу, — тут есть над чем подумать партийным комитетам, Советской власти, ученым, коллективу БХЗ — от директора до рабочего. Собственно, на раздумья нет времени, надо сделать шаг навстречу друг другу.

ЗВЕНО ЦЕПИ

Тридцать девять лет проработал лесничим в Волховском лесничестве Петр Григорьевич Антипов. За особые заслуги па лесной ниве ему присвоили в 1966 году звание Героя Социалистического Труда. В лесоводство Антипов пришел с фронтов войны: в 1941 году в Ленинграде выучился на танкиста, воевал под Калинином, подо Ржевом, под Ельцом, под Сталинградом, в Белоруссии, участвовал в победных боях под Ленинградом в 1944, освобождал Псковщину, брал Выборг. В январе 1945 года, в бою на реке Царев в Польше танк Петра Антипова «КВ» — сгорел; тяжелораненый танкист пятеро суток пролежал на поле боя, на морозе. В госпитале ему ампутировали руки и ноги...

Воля к жизни, судьба, личность Петра Антипова вселяют веру в поистине титанические возможности человека — сына Отечества!

Мой рассказ — о двух встречах с танкистом–лесничим.

В первый раз мы приехали к волховскому лесничему с режиссером документального кино Читинским, с мыслью... ну да, сделать фильм о герое войны и труда. Давно было дело...

Лесничество помещалось в простой пятистенной избе. Одну половику избы занимала контора, в другой половине сидел лесничий; в прихожей–кухне топилась плита. Лесничий выслушал нас, усмехнулся:

— Чего вы хотите—то от меня, ребята? Чего мне вам говорить—то? Времени у вас, что ли, некуда девать?

Мы смиренно отвечали, что просто так посидим, поглядим. «А вы занимайтесь своими делами».

— Ну ладно, — сказал лесничий, — сидите. Только чур не курить. Я сам не курю, и от чужого дыма у меня голова болит. Невтерпеж вам станет без курева, вон валите на волю. Места много у нас. И пить я не пью. Неудобный мужик для компании. Вам бы кого поудобней найти.

Лесничий сидел за столом. Его крупная, круглая голова прочно покоилась на плечах; левое плечо было подано назад, недвижно; правое, как у всех, в движении, в работе. Левый рукав у него пустовал, из правого рукава торчала голая, раздвоенная культия — двупалая клешня. Лицо выражало светлость, здоровье души, простоту. Губы чуток выпятились, припухли, будто лесничий прикусил горячую, прямо с жару, из чугуна, картошку, губы обжег. Говоря, он малость, по-детски картавил.

Я спросил у лесничего, откуда он родом. Лесничий сказал:

— Псковские мы. Со Скобщины. Природные скобари. Это еще при Петре Первом псковичам скобы заказывали делать. Вот и скобари.

В глазах у него голубело поле псковского льна.

Лесничий подписывал бумаги. Не так-то просто ему было поставить подпись на бумаге. То есть особой трудности эта работа не доставляла. Только шла она медленно, требовала последовательно отработанных приемов. Лесничий брал культей гирю, стоящую на столе, прижимал гирей бумагу. Затем брал со стола зубами ручку, вкладывал ее в культию, расписывался.

Он разговаривал по телефону с мелиораторами насчет того, сколько платить за прорубку просек для канав-осушителей, сколько за перегон экскаватора с болота на болото. Лесничий занимался обыденным делом; адресуясь к нам, комментировал это дело:

— Дают план мелиорации, осушаем болота. И план сбора клюквы дают. На наших же лесников такая обязанность возлагается: по клюкву ходить на болото. Болото-то мы осушим, дак клюква-то где наростет? А? Еслив клюквы не станет, опять нехорошо...

Лесничий вкусно выговаривал псковское словечко «еслив». Его говаривала няня Пушкина Арина Родионовна, а теперь мало кто знает.

Мы слушали лесничего, смотрели на него, понемногу спрашивали о том о сем. Главное было — высидеть, притереться, приобвыкнуть друг к дружке. И тогда подступиться к трудному, больному: как ЭТО было? как ЭТО случилось?

Лесничий знал, чего мы ждем от него, сам начал рассказ про ЭТО, впрочем, не выделяя его из обычного разговора, никак не меняя выражение на лице.

— ...Четыре раза я в танке горел. В последний раз в Польше, на Наревском плацдарме, в сорок пятом, в январе... Танк наш подбили

уже в немецкой линии обороны... Выпрыгнул я — куда деваться? Невдалеке окоп чернеется, я со всего маху — туда! А там немцы!..

В этом месте я прерву пересказ того, что поведал нам с режиссером Петр Григорьевич Антипов в первую нашу встречу. Со временем рассказ танкиста–лесничего обрстет подробностями. Я чуть погодя доскажу...

Тот день мы просидели в Волховском лесничестве... То есть не весь день, а эдак за полдень. Выговорили себе право сходить к лесничему домой, познакомиться с его мамой. Мать Петра Григорьевича Анна Кирилловна встретила нас, провела в горницу. Сама присела к столу на диван, уложила на колени маленькие сильные руки. На столе был приготовлен семейный альбом с фотографиями сыновей, живых и погибших. Было четверо сыновей, осталось двое. Мать хотя и не плакала, но голос ее был проникнут глубокой, привычной, неизбывной скорбью.

— ...Я боялась ехать к нему в госпиталь, — рассказывала Анна Кирилловна, как исполняла работу, нужную сыну Петеньке, истово, от души, — боялась увидеть его жалким, потерявшим веру в себя человеком. В госпитале Пете сделали протезы. Он всему учился заново: ходить, есть, пить. Потом он вернулся домой. Целыми днями сидел в каком–то оцепенении, все думал и думал... Тогда я ему сказала: «Хватит, Петр! Парень ты молодой. Голова у тебя на плечах есть? Есть! Иди учись!» Тяжело мне это было говорить, но иначе нельзя. Он до войны два курса лесного техникума кончил в Тихвине... Вот я и подумала, что в лесу ему место. Отойдет он в лесу душой, да работа интересная, большую пользу будет людям приносить. А это в его положении самое главное, что ты людям нужен. Отправила я его в Тихвин учиться, а сама себе места не находила. Да свет–то не без добрых людей. Помогли Пете в техникуме. Друг у него был, Юра Кошевой, так тот за Петей, как за родным братом, ухаживал.

Тяжело ему было, Петру–то. Но об этом только он один знает. Сколько страданий ему выпало! Но ничего, кончил он техникум. Работать стал. Спуску он себе не давал, работал, как и все. Иногда в день по пятнадцать километров по лесу отмахивал. Представляете? Это на протезах–то... День на работе, а вечером за книги садился. Институт лесной кончил, заочно учился в Ленинграде. Вот уже больше двадцати лет лесничим работает. Хорошо работает, если ему народ

звание Героя Социалистического Труда присвоил. Да плохо работать он и не может. Не такой он!..

Мать открыла альбом именно на той странице, где хранится фотография сына Петра, каким он ушел на войну: молодой, белозубый парень, улыбается в аппарат. На крепких ногах, с большими руками, русый чуб на лбу. Фотография из далекой, другой жизни...

В конце того дня мы с режиссером вышли на берег реки. Река парила внизу: мороз накалился к вечеру добела. Река потому не замерзла, что бег ее тут убыстрялся: реку стеснила плотина Волховской ГЭС. Безлюдно было кругом, только ревела вода на плотине; звук накатывал волнами, нарастал, опадал, снова набирал силу. Что-то грозное слышалось в реве реки, что-то скорбное, величальное — кантата. И еще будто флейта играла. Мотив души человеческой звучал в студеном ветре над пустынной землей, над рекой и холмами; душа взывала без слов.

Фильма у нас тогда не вышло. Я помнил о волховском лесничем: будто что-то пообещал ему и не исполнил. Время для исполнения обещанного истекало...

Апрельским утром 1988 года я сел в машину, приехал в Волхов, зашел в горком, справился об Антипове. Мне сказали, Антипов вышел на пенсию, шестидесяти семи лет. Мог бы еще работать, ему предлагали, и здоровье позволяет, но так он сам решил. Проработал в лесничестве тридцать девять лет. Проводили с почетом. По-прежнему общественно активен, выступает в школах, на предприятиях. Почетный гражданин города Волхова...

Я справился о телефоне и позвонил. Трубку взяла жена Петра Григорьевича Анна Тимофеевна. Вспомним, что мать его звали Анной Кирилловной. Дочь в семье тоже нарекли Анной. Три Анны сообщили Петру Антипову необходимое для жизни тепло родственных дуги. И была еще одна Анна — медсестра во фронтовом госпитале, в сорок пятом году. О ней еще будет речь впереди... Анна Тимофеевна отнеслась ко мне как-то по-знакомому, будто ждали и явился. Пригласила зайти отобедать.

И вот мы сидим с Петром Григорьевичем в той самой квартире, что и в первую встречу, за тем столом, на котором его мама раскладывала семейный альбом. Анны Кирилловны уже нет в живых. На столе горка писем: Петру Григорьевичу пишут отовсюду, присылают семена лесных культур, теперь у него появилось время.

В прошлом году в Лениздате вышел сборник «Танкисты в сражении за Ленинград», в нем короткий рассказ–воспоминание Петра Антипова «За отчий край» и такие строчки: «Считаю необходимым сказать о своей матери. Это был Человек с большой буквы. В 28 лет она осталась вдовой с четырьмя сыновьями — старшему из которых было всего лишь пять лет, а младшему — семь месяцев. Нелегко было матери вырастить четырех сыновей. Еще горше было получать похоронные с фронта: под Колпином в 1941-м погиб ее старший сын Федор, в сорок втором под Тулой погиб третий — Владимир. В сорок пятом искалечило меня. Только младший, Василий, отделался одним ранением. Сейчас он кандидат наук, доцент».

Не забыто в этом рассказе и о жене. «У меня прекрасная семья. Жена — Анна Тимофеевна — преданный друг, прекрасной души человек, инженер–экономист — работает на Волховском алюминиевом заводе. У нас сын Владимир и дочь Аня».

Анна Тимофеевна приняла меня как своего по той причине... что руководителем диплома в Лесотехнической академии был у нее мой дядюшка Павел Иванович Горышин, доцент, отвоевавший войну в артиллерии, ныне покойный. Вот как бывает, правда, мир тесен.

Отобедали на кухне, налегая по преимуществу на картошку, свою, антиповскую, со своими солеными огурцами. Анна Тимофеевна заспешила на работу. Мы с Петром Григорьевичем вернулись к разговору, начатому в первую нашу встречу, будто прерванному, но не забытому. Антипов говорил ровным одинаковым голосом, будто журчал ручей. От говорящего распространялось спокойное право изливать повесть собственной жизни: она несла в себе какую–то неоспоримую, важную для всех истину.

За годы, что мы не виделись, Антипов как будто не постарел, но как–то обособился, вошел в свой собственный образ. Льяная голубизна его глаз пеплом припорошилась, но выражение на лице сохранило светлость. В танкисте–лесничем проглядывал — под

спудом пережитого — его природный веселый нрав, что-то теркинское, безудержное, взახлеб.

Петр Григорьевич включил телевизор, как бы предлагая мне выбрать: скучно слушать меня, смотри, слушай другое. Посетовал на пишущих про него:

— Я рассказываю одинаково, а пишут по-разному.

Рассказ Петра Григорьевича Антипова состоял из уточнений к уже говоренному прежде. Что-то вдруг всплывало в памяти, как бы само по себе, но для чего-то нужное в общей цепочке, до сего дня протянувшейся — вот ведь чудо какое! Могли цепочку перерубить... До войны жили в Старой Ладоге, ружьишко было одно на всех четверых братьев, двадцать восьмого калибра, плохонькое, со слабым боем. Картечины Петр сам обкатывал, по две картечины на заряд. Пошел весной, когда гуси летели, на речку Ладожку, на разлив. Присел в куст, а гуси прямо над ним...

— Вожака я пропустил, он старый, мясо жесткое, посредине одного выделил — тырк! — гусь крыльями вот так вот затрепыхал... Но выправился. А рядом со мной в мочежину, слышу: буль-буль. Не сразу сообразил, что это мои картечины... Одну бы положить в патрон, может, и убил бы...

В Старую Ладугу переехали из Островского района Псковской области; на Псковщине жили на хуторе неподалеку от границы с Латвией. Отец был пограничник. Погиб в 1924 году. Начальник погранзаставы Берг Эдуард Петрович уехал с границы в Старую Ладугу: его назначили директором учрежденного там совхоза. Он позвал к себе Анну Кирилловну с детьми, они и приехали.

— Тогда шла коллективизация, — сказал Петр Григорьевич, — раскулачивали. Скот сдали в совхоз, а кормить нечем. По полям солому собирали. Мама шила дома и вырастила нас четверых.

Без внешних признаков связи, при временных перебросах, в рассказе Петра Антипова улавливалась внутренняя логика — железное свойство ума: установить причинность событий, закономерность следствий, додумать все до конца.

— В Саратове в госпитале, в сорок шестом году, когда реампутацию делали, подгоняли кости к протезам, я попросил сестру принести что-нибудь про лес почитать. Она принесла «Учение о лесе» Георгия Федоровича Морозова. — Он так сказал: Георгия Федоровича

Морозова, с величайшим почтением. — Это то, что мне надо. Из этой книги узнал, что лесоводство — дитя нужды. Сестру звали Маруся...

Рассказчик остановился, посмотрел на меня, чтобы я не забыл записать про Марусю.

В лесной техникум поступил, поскольку прочел в тихвинской районной газете объявление о приеме: это совпало с потребностью души лесного жителя. В Петиных детстве и отрочестве Старую Ладогу окружали леса, простирались на все четыре стороны. Нынче от лесов мало что осталось...

...Когда 148-й отдельный танковый батальон (в этом месте рассказчик задумался, что-то вспомнил, но не стал вдаваться в подробности. Сказал в пространство: «Танковый батальон — велика ли штука...») после тяжелых боев подо Ржевом весной сорок второго года вывозили на переформировку, чтобы влить в третью гвардейскую танковую бригаду, бросить затем под Елец... Состав остановился в березовой роще, неподалеку от Москвы. Машинист паровоза бежал вдоль состава, просил танкистов напилить дров: что были, все вышли, нечем топить паровоз. У каждого экипажа танка (танки были тяжелые, КВ) нашлись пила с топором. В охотку — молодые были, не то чтобы сытые, но кормленные — напилили, нарубили, сложили чурки в тендер; машинист с помощником раскочегарили топку и поехали.

Из приятного воспоминания о пилке дров в подмосковной березовой роще, между боями, Антипов сделал общебытийный вывод: лес помог нам одолеть эту войну; без лесу бы дело швах; как без хлебной пайки не смогла бы действовать армия, жить — население, так без лесу, без дров стали бы транспорт и энергетика, и хлеба не испечешь. Лес помог Отечеству в годину крайней смертельной нужды. Значит, что же? Будет лес, выдюжит и Отечество. В этом краеугольный камень философии лесничего, дело его жизни.

Петра Антипова призвали в армию в июле 1941 года, привезли в Ленинград. Просился отправить на фронт, но приказано было учиться в училище радиоспециалистов. Из училища взяли в 12-й учебный танковый полк как радиста танкового экипажа — стрелка-радиста. Вошло навсегда в сознание наставление первого командира, «стройного, подтянутого, в кожаной тужурке»: «Запомните: вы теперь — танкисты, «кависты», а не мочала».

— Танк КВ стал для меня домом и цехом на все годы войны. В нем я жил, в нем работал — воевал.

В Ленинграде Петр видел, как горели Бадаевские склады. В блокадную зиму видел женщину, везущую на саночках запеленутый труп своего ребенка. Видел, как пожилой мужчина прислонился к стене, не устоял, упал и умер. Как шли строем девушки пожарного батальона, удивительно молчаливые, грустные. Как разорвался на улице снаряд, обрызнуло кровью стены. В цехе Кировского завода, где ремонтировали танки, рабочему оторвало ноги снарядом; Петр Антипов слышал, как рабочий пожаловался... что больше работать не сможет. Он думал не о потерянных ногах, а о том, что его работа нужна для победы.

В блокадном Ленинграде Петр Антипов прошел школу мужества. Здесь зажглось его сердце неукротимой жаждой — рассчитаться с врагом полной мерой. В феврале сорок второго обученных «кавистов» увезли в Челябинск за танками — и подо Ржев.

— В один день насчитали триста бомбежек по нашей бригаде...

В рассказе Петра о войне прослеживается мотив личного вклада стрелка-радиста в сальдо-бульдо войны, в баланс победы: кто кого. Еще в Тихвине в техникуме Петя сдал на значок «Ворошиловского стрелка»; значку отводится больше места в рассказе, чем полученным за бои орденам Красного Знамени, Отечественной войны. Славы, всем боевым медалям, какие есть.

— По улице идешь со значком «Ворошиловский стрелок», мальчишки останавливаются: «Смотри, смотри, Ворошиловский стрелок!»

Под Ельцом шли в атаку...

— На дубах у них «кукушки» посажены, сверху строчат по пехоте. Я смотрю

в прицел, вижу, что-то в ветвях чернеется. Я приложился... — Петр Григорьевич показал, как приложился к своему «Дегтяреву», сощурил сохранивший зоркость глаз с маленьким зрачком, — тырк! — смотрю, повалился. Дальше едем, опять, гляжу, чернеется. Я — тырк! — и этот упал. Двоих «кукушек» снял, значит, кто-то из наших славян живой остался. Под хутором Рысковским. под Сталинградом, пятерых пулеметчиков уничтожил. Этих я видел. Может, еще кого, в каждом бою вел огонь... Других не видел.

Антипов очень внимателен к частности: на войне жизнь на волоске, волосок—то и надобно заметить.

В сентябре сорок вторую бригаду погрузили в состав, повезли куда—то.

— ...Куда везут? Кто же его знает. Так гнали, как только буксы выдерживали. Их и не смазывали. Впереди два ФД, сзади еще толкач подцепляли. Остановились ночью под станцией Котлубань. Объявили: враг может появиться внезапно. Южная ночь, такая темень, какой у нас не бывает. А надо сгружать с платформ тяжелые танки КВ, при полной светомаскировке. Это не шутка. Сгрузили. И сразу — «Вперед!» Надо было преградить немцам выход к Волге. Напор был страшный. «Мессершмитты» у нас по головам ходили. В бригаде пятьдесят — шестьдесят машин, после боя осталось три танка. Но выстояли.

На переформировку вывезли в Саратов. Здесь Петр Антипов был принят кандидатом в партию. И опять бои под Сталинградом, на полосе, отделявшей окруженную армию Паулюса от главных сил фашистских войск. Всего—то коридор шириною в три километра, с двух сторон простреливаемый. «По коридору взад—вперед...» Под Новый сорок третий год взяли Котельниково. Потом Новочеркасск. Под Батайском сходу ворвались на аэродром с невзлетевшими самолетами, покрутили их гусеницами в пух и прах...

В сорок третьем Петр Антипов воевал па Брянщине, в Белоруссии, форсировал Десну, Сож... В конце 43-го ему повезло. Вот как он пишет об этом в своих мемуарах «За отчий край»: «Велика была моя радость, когда... очутился снова на родной Ленинградской земле. Несмотря на мороз, от Тихвина до Ленинграда стоял на платформе, чтобы не проспать родной Волхов. И просмотрел. Ехали ночью. Густой туман. Ждал, когда въедем на красивый, с высокими металлическими фермами железнодорожный мост через Волхов. Не дождался. Мост был взорван. Нас провезли по временному, деревянному».

В январе сорок четвертого, после массивной, длительной артподготовки («И пушки с кораблей били») — фронтальная атака на Пулковские высоты и дальше в глубину с немецким тщанием выстроенной за два с половиной года обороны: Воронья Гора, Красное Село, Ропша, Гатчина (тогда это был Красногвардейск)... Под

Гатчиной три прямых попадания в танк. Спасло мастерство механика-водителя Миши Тарханова. И — полная победа под Ленинградом! Покончено с блокадой! Двадцать седьмого января сорок четвертого года — ликование на улицах города, победный салют в Ленинграде! Ликует душа танкиста Антипова; в победе есть его доля, труд, судьба!

В марте проехал на танке с победой по родной Псковщине, пьянел от воздуха ее лесов, полей, озер. «Синички плакали». Каждое село встречало его, как сына. И враг был силен. В разведке боем в танк Антипова ударило пять болванок. Пробило бак с горючим, танк вспыхнул. Остановились глаза у водителя Миши Тарханова. Петя хотел вытащить товарища, но самого его отбросило взрывом. Горел, катался по снегу под прицельным огнем. Товарищи уволокли его в укромное место, расплосовали горящую одежду, а то бы сгинул.

Ремонтировать танки — опять на Кировский завод. А там у станков девчонки... На КВ прокатились на четвертой скорости по городу — и в бой, на Карельский перешеек...

За окнами квартиры Антиповых засумерничало. Рассказ замедливался. Рассказчик не то чтобы устал, но чаще задумывался, больше помалкивал. Шебуршал телевизор.

— В кино танковые бои показывают, — сказал Петр Григорьевич, — а танки все наши. Я их по звуку мотора узнаю. У немецких танков другой был звук. У наших пушки без набалдашников, вот и наваривают на наши. Вроде как немецкие.

Он посмотрел себе на ноги. Или это я посмотрел, а он перехватил мой взгляд. Его ноги в резиновых сапогах маленького размера, с завернутыми голенищами пребывали в абсолютной неподвижности, как если бы сапоги стояли под вешалкой.

— У меня была большая нога, — сказал Антипов, — сорок третий размер. Протезы сделали сорок первого. Экономия материала. С лесниками в марте пойдем по насту в обход, они пройдут, а у меня нога проваливается, наст не держит, мала опора.

Пришла с работы Анна Тимофеевна. Хозяин заметно оживился, то и дело обращался к своей подруге: «Тимофеевна!..»

Как неоднозначны человеческие слова, сколько сокрыто в памяти человека еще никому не сказанного, даже и себе самому!..

Паревский плацдарм — на реке Царев в Польше: три километра по фронту, полтора в глубину. На исходный рубеж вышли 14 января 45 года. Еще на марше подорвались на mine, выбило левый опорный каток. Механик–водитель, техник–лейтенант Самардак (стрелок–радист Антипов был гвардии старшиной) сказал: «Дойдем без катка». Натянули гусеницу, догнали своих. «Тяжелая машина вихрем неслась по заснеженной дороге».

15-го рано утром вышли на опушку небольшого леса. Впереди «белая простыня» (слова рассказчика) открытого места, чуть поправее впереди двухэтажный дом розоватого цвета... Все запомнилось Антипову в цвете... Комполка скомандовал: «Вперед!» Комроты дублировал команду: «Вперед!» Радист принял и передал.

— Комроты проскочил траншею, там сгорел, — сказал Петр Григорьевич то, чего не было в первом его рассказе. — Два танка и люков не открыли, сгорели. От роты один танк остался (было пять)...

Самардак повел машину вдоль траншеи. Пушкарь бил из пушки, стрелок строчил из пулемета. Одна болванка попала в двигатель, мотор заглох. «У меня диск кончился, стал менять, пулемет горячий». Запахло дымом, появился огонь. Командир, артиллерист, заряжающий ушли через верхний люк. Водитель крикнул стрелку–радисту: «Выскакивай!» Сам вывалился через моторное отделение, Антипов за ним... «И сразу пулей ткнуло в правую руку».

В первую нашу встречу с Антиповым он сказал (или я так запомнил), что из горящего танка прямо угодил к немцам в траншею. В новой редакции рассказ оброс подробностями, уточнениями.

— ...На охоту пойдешь в Старой Ладого, по уткам в лет стреляешь, выцелива ешь с опережением... Редко когда попадешь, особенно по чирку... Я вдоль траншеи–то и побежал что было силенок. Метров сто пробежал. Шлем сдернул, еще когда из люка вылезал. Они палили в меня и мазали. Спиной бы к ним повернулся — и сразу наповал. Деться некуда было, тогда уже в траншею свалился.

А в траншее один на меня автомат наставил — ты–ды–ды. Я боли не почувствовал... Это как мы один раз с мамой в Новгородскую область ездили, на праздник. Там мужики чего–то повздорили. Один за ружьем сбегал и другому прямо в грудь — жаканом: убил. А тот еще

крикнул: «Меня убили!» И шагов пятьдесят пробежал. В шоковом состоянии. Тогда уже упал. Вот и я — убитый или не убитый? Пошел по траншее... После оказалось, что он мне левую руку изрешетил. В госпитале на мне пятнадцать ранений насчитали, пулевых и осколочных — от гранаты...

Со сверхъестественной цепкостью Петр Антипов боролся в том последнем бою за собственную жизнь; до последнего проблеска сознания не посчитал себя вышедшим из боя. Сунулся в блиндаж — там полно немцев. Один прицелился ему в голову из «парабелла» (Антипов со вкусом выговаривает это словечко: «парабелл», малость картавя при этом). Петр стоял на четвереньках, то есть полз вглубь блиндажа. Ткнулся головой в землю на долю мгновения раньше, чем грянул выстрел. Добили его прикладами (на голове и лице Антипова сохранились следы тех ударов). И ушли из блиндажа. Вдруг один из фрицев (Антипов так сказал: «один из фрицев») вернулся. «Котелок забыл или что...» Петру бы тут притаиться, кажется, так бы должен сработать инстинкт самосохранения. Но было не так — это важно для рассказчика.

— Я «парабелл» свой, трофейный, вытащил, правой рукой, затвор стал отводить, а левая не слушается. Попробовал зубами и тоже не вышло. Я руку сжал в кулак — правая сжималась — и в спину ему погрозил, матом обложил.

Почему русского не добил немец? Кто ж его знает... Может, не до того было впопыхах боя или возня русского с «парабеллом» осталась незамеченной, мат не услышанным. Может, ничего такого и не было, только порыв...

Петр Антипов вылез из вражеского блиндажа на белый свет, а там немцы стоят. Кинули в него гранату. «Граната — пух!» И тут ему повезло: граната попала за дощатую опалубку траншеи. Удар приняли на себя доски и песок.

— Меня по левому боку осколками — как наждачной лентой.

Хватило сил (откуда силы у человека берутся?) унырнуть обратно в зев блиндажа.

— Переполз в темный угол. Нащупал клочок сена. Подложил под голову, лег. Правой рукой затащил левую на живот, правую — за борт куртки. И потерял сознание.

Очнулся от разорвавшегося над блиндажом снаряда. И опять же танкиста не задавило, а могло. Услышал русскую речь наверху, позвал:

— Славя-а-ане!

Голос был тихий, слабый; Петр понял: голоса нет. Подумал: «Если не услышат, не подберут, уйдут, я буду пропавшим без вести. А это уж совсем никуда...» Собрался с духом, крикнул, что было мочи:

— Славя-а-ане!

Услышали. Парнишка забрался в блиндаж. Попытался вытащить танкиста наружу, но не смог; танкист был дюжий. Сбежал, привел автоматчиков. Явился откуда-то майор, спросил у танкиста номер полка. Петр назвал точный номер. Попросил сходить к его танку, посмотреть, нет ли там кого живого. Сходили, пришли, говорят: «Один мертвый лежит по эту сторону, другой мертвый по ту».

Приехала подвода с кучером. Привезли в медсанбат, там спросили, когда был бой. Антипов вспомнил: пятнадцатого. А сегодня какое? Двадцатое...

Война все сделала, чтобы убить солдата, а солдат остался живой. Что его спасло? Может быть, мамина мольба не умирать донеслась до Пети? Так мама хотела, чтобы Петя вернулся живой.

Сын вернулся... Но до этого еще далеко — с того, последнего боя...

— В медсанбате сразу на операционный стол, по плечо левую руку отрезали. Потом я ноги свои увидел. Черные стали, распухли. Это я, стало быть, их отморозил, покуда лежал. Уже в госпитале, во время очередного обхода врач подошла, стала тыкать в ноги булавкой. «Больно?» — спрашивает. «Нет, — говорю, — не больно». «Так вот, — говорит, — Петр, надо резать ноги». Взяла карандашик и чиркнула мне по ногам: «Вот так иотрежем». «Режьте, раз надо», — говорю. Ну и отрезали.

Я лежал в палате тихо, не капризничал. Подойдет иногда сестричка Аня, посмотрит на мои ноги. «Ой, Петро, ноги-то у тебя какие стали!» И заплачет. Потом взялись за мою правую руку. «Газовая гангрена, — говорят, — опять резать надо!» Что я им мог сказать? Скажи они мне: «Так, мол, и так, Петр, — голову тебе надо отрезать». Я бы и спорить не стал.

Отрезали мне кисть правой руки. Все! Уже, кажется, больше резать нечего. Даже легче немного стало. Да! Парни мы были

молодые, мне к началу войны двадцать первый пошел, думали: разобьем фашиста и домой придем... Лежал я тогда, помню, в госпитале и все думал: «Может, зря, что я в танке не сгорел? Куда я теперь такой? Кому нужен? Зачем?» Да! Если б не мать...

Госпиталь в польском городке Граеве (Говорове) — эвакогоспиталь № 1140 3-го Белорусского фронта. Для Петра Антипова — междуцарствие отчаяния и надежды. Была ли надежда? Надежду питала молодость (и голова на плечах!); сила возвращалась к Петру; сердце откликалось на добро, теплоту — и на красоту, на девичью...

— Медсестра Аня — красавица, — задумчиво вспоминает Антипов, — Она мне кровь вливала. Узелок на левой культе завязывала... У нее толстая черная коса ниже попы... Кости пилили обыкновенной слесарной пилой. Врач молодая была, подмышку возьмет и пилит. Потом в Саратове реампутацию делали, там хирурги муж и жена. Она мне левую ногу резала, он правую. Потом еще в Москве...

Врача в госпитале в Граеве не хватало на всех — в ключья порванных, обмороженных, с газовой гангреной, столбняком. Встреча с врачом произошла спустя целую жизнь — вторую жизнь Петра Антипова, лесничего.

— Меня показывали по телевизору в передаче «Служу Советскому Союзу»: я по лесу иду в леснической фуражке... И получаю письмо, его мне телевизионщики переслали. Врач пишет, Таисия Ивановна Паршина, в Никополе Днепропетровской области она живет. Увидела передачу и написала: «В январе 1945 года поступил тяжелораненый танкист...» Узнала меня. Я ей ответил, пригласил к нам приехать. Она сообщила, когда приезжает. Мы с Тимофеевной поехали на «Запорожце» ее встречать на вокзал. Тимофеевна за рулем...

Оказалось, что доктор Таисия Павловна Паршина попала во фронтовой госпиталь прямо со студенческой скамьи, после медицинского института. Доктору было в сорок пятом году двадцать пять лет. Танкисту Антипову — двадцать четыре.

Та, первая жизнь Петра Антипова — на войне — вдруг напомнила о себе грустно, трогательно и утешно: нашелся еще один родной человек — доктор Таисия Павловна...

И еще был случай, которого нельзя обойти. Вот как написал о нем Петр Антипов:

«Однажды в протезной мастерской встретился с молодым человеком, у которого, как и у меня, ампутированы ноги. Пристально посмотрел на него. Он говорит мне:

— Не падай духом. Слышал про летчика, который без ног воевал с фашистами?

— Слышал.

— Так вот это я. Писатель Полевой написал обо мне книгу.

Уже будучи дома, в книжном киоске увидел знакомое лицо на обложке одной из книг. «Это он! — мелькнуло в голове, — Тот самый, что говорил со мной в протезной мастерской».

Купил книгу «Повесть о настоящем человеке». С большим волнением прочитал ее. Во всех деталях вспомнилась беседа с Маресьевым. Это, пожалуй, ускорило мое решение о цели и смысле дальнейшей жизни».

Мы разговаривали с Петром Григорьевичем после обеда, по утрам отправлялись в объезд по округе. К восьми часам Анне Тимофеевне на работу. Она беспокоилась:

— К восьми я его одену, вы заезжайте, а то что же он будет одетый сидеть?

— Куда поедем, Петр Григорьевич? — спросил я, когда выехали на главную улицу города Волхова.

— Если можно, мне бы на могилку к матери, в Старую Ладогу.

Дорога шла по всхолмленной равнине, полями. Лесничий припоминал, когда здесь были леса, когда их свели под пашню. Переезжали речку Ладожку, вспомнил, каких щук здесь лавливали, бывало, с братьями. Между прочим заметил: «Были бы у меня руки, я бы рыбу ловил». При въезде в Старую Ладогу холмы моренного происхождения сменились рукотворными курганами. То есть холмы остались холмами, а на возвышенном левом берегу Волхова обозначили себя могильные курганы древнего русского городища. Красиво распахнулась внизу излучина Волхова...

— Вон там лесничество было, — оживился Антипов. — Новый год там встречали, шестидесятый. Я зашел. Там с Анной Тимофеевной и познакомился. Это — счастливое для меня место.

Кладбище в Старой Ладоге, как в каждом селенье, было вынесено за околицу, сокрыто лесом. Леса не стало, погост обстроили совхозными многоэтажками. Церковь на кладбище сохранила только стены, купол рухнул. На тополях истошно орали грачи с галками, строили гнезда.

Анна Кирилловна Антипова поглядела на сына ясными, добрыми, несостарившимися глазами — с фотографии, вправленной под стекло на белой пирамидке. Сын посмотрел в глаза матери. В ограде материнской могилы им оставлено место для себя. Посажены серебристые, с длинными, натопорщенными хвоинами, елки.

Постояли и поехали.

Лесничий сидел со мной рядом, в форменной фуражке с дубовыми веточками на козырьке. Скорее всего, он и не расстанется с него: Антипов всем известен в Волхове как лесничий; леса вокруг — все его. Языком статистики: в Волховском лесничестве 28 тысяч гектаров гослесфонда. За тридцать девять лет работы лесничим Антипов посадил–вырастил лес на площади в две тысячи гектаров. Это — легкие города Волхова, промышленного центра, весьма загазованного, окружающую среду и Ладогу отравляющего...

Когда мы ездили с Петром Григорьевичем по лесам, я подумал, что, может быть, самое незаметное в общих наших делах — лесопосадки: быстро растут одни тополя (волховский лесничий тополей не саживал, не любит). Елки, сосны, липы, дубы, лиственницы, кедры растут помаленьку (особенно кедры). Вырастут в лес — и не узришь в лесу чьего–то личного вклада: лес как лес, такой же при самосеве. Разве что лесничий да лесники узнают в молодом лесе свое родимое племя. До зрелости этого леса никто из них не доживет.

У французского просветителя XVIII столетия Гельвеция сказано в одном месте: «Все события связаны. Если вырубают лес на севере, то изменяются ветры, время жатвы, искусство этой страны, нравы и образ правления. Мы не видим целиком эти цепи, первое звено которых уходит в вечность».

Нимало не отступаясь от сути высказанной Гельвецием максимы, рискну оборотить ее во времени в нашу сторону. Когда сажают леса у нас па севере, мы также не видим цепей, первое звено которых на лесопосадке; они уходят в грядущую вечность.

Кажется, так.

В ВЕРХОВЬЯХ РЕК

Я один из тех, кто совершил в недавнем прошлом незаконный поступок. Нас было не так уж мало, переступивших закон... Собственно, и закона не было, просто не разрешали куплю–продажу избы даже в самой неперспективной деревне. Однако же продавали и покупали: жалко, добро пропадает. Отдал съезжающему хозяину (чаще хозяйке) тут же с потолка взятую сумму, получил расписку — и владей хоромами. Все равно, что, скажем, воз дров приобрел...

Теперь эту непостижимую уму преграду между желанием сельского жителя продать, а горожанина купить дом в брошенной деревеньке устранили отчасти. Так что можно быть откровенным.

Истины ради надо сказать, что съезжающий с насиженного места селянин чаще всего получал жилплощадь на центральной усадьбе совхоза; оставленный им дом принимался совхозом на баланс. Как очевидец замечу: от баланса дому ни жарко ни холодно; без хозяина дом все равно сирота, разрушается и хиреет. А то прохожий рыбак–турист причинит дому вред. Почему–то у наших «туристов» заведено напакостить в чужом доме...

Летом я приезжаю в деревню Нюрговичи Тихвинского района, в трехстах пятидесяти километрах от Ленинграда, затерявшуюся среди Лесов, болот, построенную на одном из холмов Вепсовской возвышенности. Это коренное место обитания вепсов, то есть веси. Отсюда родом весь пошла.

«Приезжаю» — громко сказано. Лучше скромнее: доезжаю до конечной автобусной остановки на Харагинской горе; с горы когда можно съехать на машине, а когда нельзя. Подняться на гору вообще проблема, тут жди трактора. Впрочем, иногда в легковушку впрягают лошадь, вытягивают.

В Харагеничах я захожу в избу к Богдановым, бабе Кате и бабе Дусе. Бабе Кате за девяносто. Про нес говорят, что она сама срубила избу. Баба Катя не оспаривает эту версию, но и не хвастается своей трудовой доблестью, только улыбается. Она еще видит, слышит, помнит, хорошо ткет из ветоши цветные половики. Ее дочь Евдокия —

баба Дуся — сложила в избе печь, это точно, сам видел, как она любовно ее выбеливает.

Летом в избе Богдановых посиживает, покуривает сын бабы Кати, брат бабы Дуси, Василий, питерский рабочий человек, вышел на пенсию по болезни легких. У Василия профзаболевание — силикоз: с шестнадцати лет после ФЗУ работал печником, клал мартены на заводе «Большевик». Когда была нужда в починке мартена, погружался в его неостывший зев, починял; остужать мартен некогда, плавка — непрерывный процесс.

К Богдановым я зашел однажды проведать дорогу, так и стал в доме спويم. Думаю, если бы постучал к их соседям, и там бы приветили как своего. Это сохранилось в вепсовских селах, как и в северных русских, чем далее от центров, тем открытое для путника дома и души людские.

Харагеничи — придорожное, трактовое село, красиво построенное на угорьях, стекающее в распадки. На прохожих и проезжих харагинские жители взирают из окон свысока, поскольку сельские улицы на низших отметках, а избы на высших. Посередине села мост через речку, поблизости речка и начинается, вытекает из Харагинского озера. Берегом озера можно идти час, другой, то выше, то ниже, видеть сквозь прибрежные березняки, ивняки просинь озерную или пасмурность вод — в цвет небес. Местами к озеру можно сойти луговиной; травы нынче (вепсы говорят на новгородский манер: «сей год») в июле мало где кошены, густы, высоки, изукрашены всеми цветами, какие есть в определителе северных трав, а каких названий и не сыщешь: и зверобой золотится, и ромашки как солнышки, и колокольчики синевеют, и лютики, и гвоздики как звездочки в небе, и медово-белые кудеряшки высокорослой таволги, и сиреневые клеверища...

Харагнское озеро кончится, перевалишь через сухую боровину, тут тебе Гагарье озеро — иные цвет, оттенок, дух, тишина; в каждом озере тайна; испокон веков концы чьих-то судеб прятали в воду. Темна вода в вепсовских озерах, настояна на травах, торфяниках, покоится на донной подушке ила-сапропелн, отражает в своем лоне не тронутую пока что красу здешних лугов, боров, белостволых роц. О Гагарьем озере еще сказ впереди...

Дорога над Харагипским озером выводила в прежние годы к селу Долгозеро, там тоже большая вода. От села остался лишь звук: село перестает быть вскоре после того, как погаснут последние угли в печи последнего жителя. Веками служившая вепсам дорога в Долгозеро теперь дорога в никуда...

Село Харагеничи держалось все это время благодаря тому, что в нем оставалась ферма совхоза «Пашозерский»: выгуливали бычков и сдавали. В селе живут люди, пока есть работа. И вдруг... Нынче летом я сошел с Харагинской горы, сел к столу в избе Богдановых, бабушки принялись меня угощать «луковой травой»... Летом это здесь главная пища — «лукова трава»: нащиплют на грядке перьев лука, забелят каким-никаким молочком (с молоком крайне туго) и утоляют потребность организма в витаминах. Откушаешь луковой травы, после гасишь пожар в утробе. В воде пока что здесь нет недостатка.

Уже год, как в Харагеничах закрыли магазин, автолавка иногда привозит соль, сахар, спички, курево, мыло, кильку в томате. И главное средство жизни — муку. В каждой избе пекут хлебы, блины, калитки с картошкой, с перловой крупой. Распивают чай с калитками, тем и живы. Ферма в Харагеничах закрывается, порушился скотный двор, а новый не строят.

Сижу в избе коренных жителей старинного вепсовского села Харагеничи, в уютной, устеленной домодельными половиками горнице, распиваю чай — и некий главный вопрос витает над этим столом, как над всеми столами в округе: что станет с нашим селом, что станет с нами? Неужто и это все бросим — пашню, отвоеванную предками у тайги, шелковые здешние травы, озерную синь и прохладу, родные стены, вот этими руками срубленные?

Селу Харагеничи грозит та же участь, что Долгозеру, десяткам других брошенных деревень. Работоспособные уже наладились ехать в Пашозеро, там есть работа, дадут жилье. Л тем, кому некуда ехать, поздно покидать родные гнезда?.. В последние годы в различных постановлениях, в прессе так много сказано было об ошибках в подходе к решению участи сел в нашей нечерноземной глубинке, о неправомерности самого понятия «неперспективное». Однако запущенную центростремительную силу, процесс оттока с окраин в центры так скоро не остановишь, как того хотелось бы нашим публицистам-аграриям. И брошенные деревни едва ли возродимы.

Еще одним постановлением дела не поправишь. Нужно что-то другое. Что?..

Поискать ответа... с другой стороны. Взглянуть на дело не сверху, не в общем и целом, как прежде бывало, а вот отсюда, из дома местного жителя. Постоять в разливе некошенных трав, ощутить их невыразимую в цифре цену как личную ответственность, долг. Принять близко к сердцу участь этого края, его людей — великих тружеников. Увидеть в лицо каждого человека!

Никто в округе не помнит, чтобы хоть раз приехало на Вепсчину какое-либо ответственное лицо из района, не говоря об области, спросило бы у местных совета, как дальше быть...

Однако пора в дорогу, в свою деревню Нюрговичи. Кратчайший путь тропой, никем никогда не подновляемой, заваленной стволами палого леса: в последние годы над вепсовской тайгой проносились страшной силы вихри, наломали столько дров, сколько Шугозерский леспромхоз не заготавливал. Тропа местами утонула в болотах и болотцах. Часа за два доберешься до берега Капшозера, распахнется перед тобой немисливо величавая, исполненная красоты и гармонии картина привольных вод в крутых берегах; на той стороне, как груда камней-валунов, притихшее, без признаков жизни село. Сойдешь к воде поправее, затеплишь костер-дымокур, покричишь, за тобой приедет на лодке Михаил Яковлевич Цветков, семидесяти восьми лет от роду. Но может его и не быть: он перебрался с женою (дети его — кто в Тихвине, кто где) из Нюрговичей в Пашозеро, однако подолгу на новом месте ему не сидится, тянет его неведомая сила в свою избу на угоре над озером (поставленную на совхозный баланс), в свою тайгу, где век охотничал и рыбачил.

Влево пойдешь, покричишь, отчалит от того берега (в нерабочее время) Василий Егорович Вихров, механик отделения «Пашозерского» совхоза в Корбеничах. От Нюрговичей до Корбеничей восемь километров разбитого тракторами проселка: овраги, буераки, бездонные зеленые лужи-омуты, сторонами глухая тайга. Механик Вихров ежедневно в шестом часу утра седлает лошадь, месит грязи, зимой торит след по снежным переметам. Конь иной раз шарахнется от куста, понесет: угол здешний в буквальном смысле медвежий. Если посчитать, сколько проехал верхом Василий Вихров, скажем, за десять лет, то такого пробега и ковбою не снилось. Еще на участковом

механике вся техника совхозного отделения. И сена на лошадь накоси. И свое хозяйство, без него семье не житье. Согласитесь, не каждый бы смог. Нужны не только крепкое здоровье, редкое упорство, но и тихое мужество. А главное — верность родным местам, привязанность к ним — и надежда: что-то должно перемениться к лучшему, не может же быть, чтобы так бросили это богатство: пашню, травы, реки, озера, ягодные, грибные места, красоту...

Переплыл озеро, и вдруг первая здесь новость: Вихров собрался уезжать с семьей в Шугозеро. Значит, что же? Не станет в Нюрговичах вихровской коровы-кормилицы, не станет овец-барашков, кур, картошки, овощей с огорода, пса Соболя, стерегущего деревню от незваных гостей из тайги. Некому теперь будет привезти нюрговичским старикам-зимогорам чаю-сахару из магазина в Корбеничах. В Нюрговичах магазина нет. Вообще-то есть, но продавщица Екатерина живет за двенадцать километров в Озровичах, в кои веки доберется сюда с оказией.

Василий Егорович Вихров уезжает — такая печальная новость. Столько спокойствия, терпения, трудолюбия, хозяйственной основательности в этом нюрговичском вепсе, а и он не выдержал. Лопнуло и его завидное терпение. Надежда иссякла. Да и как ей не иссякнуть, если в соседнем большом, пока что полном всяческой жизни селе Корбепичи школу закрыли...

Но это я забегаю вперед. Вдруг Василий Егорович еще передумает...

Из Харагекичей в Нюрговичи можно пройти хотя и кружной, но проезжей дорогой. Проезжей-то проезжей, но лучше не надо. Один раз я попробовал на машине, в другой раз воздержусь. От Харагеничсй до паромной переправы через Капшозеро — на том берегу Корбепичи — четыре километра. Собственно, от этих четырех километров зависит существование Корбеничей: быть или не быть. По этой дороге ежедневно проходит почтовая машина, везут товар в магазин, вывозят по осени нагулявших вес бычков в Пашозеро (думаю, на этих четырех километрах бычки изрядно теряют в весе). На дороге из Корбеничей в Харагеничи есть гиблое место, в распутицу здесь днями молотит жидкую глину тракторбуксировщик. Сколько сгорело за годы горючки, полетело картеров, дифферов, карданов, глушителей, рессор, сколько деревьев срублено на ваги и гати, — посчитаешь, так это хватило бы

средств на бетонку. Сколько потрачено человеческих нервов, того и не счесть. Дамбу поперек Финского залива возвели, а на четыре километра жизненно необходимой людям дороги средств не хватило...

В рассуждениях о том, почему опустели деревни в нечерноземной глубинке, мы привыкли ссылаться на социальные, исторические и другие от нас не зависящие причины. А как дойдет дело до конкретного, пока еще живого, того гляди опустеющего села, мы решительно не находим средства ему помочь. Сельсовет при его малых средствах и не замахивался на строительство дороги, не хватает ему силенок загатить хотя бы одно гиблое место. Да и отвыкли сельсоветовские от какой-либо деятельности (именно деятельности!) на пользу односельчанам. У совхоза не доходят руки до дальних отделений, разве что трактор послать. Или, еще проще, отделение закрыть...

В старину корбеиичские, озровичские, харагеничские, нюрговичские вепсы на сходках решали, какому селу какую держать в порядке дорогу, выходили всем миром, и не было у них дорожных проблем. Правда, трактор тогда был в редкость. Сельский грунтовой проселок и современный трактор суть несовместны. То есть трактору море по колено, а проселку после трактора хана, это уж точно. Как тут быть? Никто не ответит...

Но это еще не все, мы еще и до Корбеничей не добрались. Вот выехали на берег (при помощи трактора), тут паромная переправа. Паром на Капшозере против Корбеничей — единственный в своем роде. Паромщик не предусмотрен штатным расписанием (предусмотрены ледка и перевозчик). Повезло тебе, въехал на утлый плот, берись за трос (не забудь прихватить рукавицы, трос кусается), сам себя тяни, сколько хватит силенок. Плот выдерживает одну машину, но надо иметь обостренное чувство центра тяжести, дабы не кувырнуться. Перекувыркивались, и не раз. До сих пор в округе живет легенда-бывальщина, как сыграл с парома на дно озерное грузовик с ящиками зелья. Говорят, до ледостава ныряли, даже из Ленинграда приезжали мастера ныряния. Может быть, и присочиняют, но что-то было.

Помню, однажды мне привелось переправляться на пароме через реку Джебу в республике Гвинея — Бисау, в джунглях. Река Джеба не шире Капшозера против Корбеничей, правда, с сильным течением. Так

там паром тянул паровичок, шлепал плицами кормового колеса. В африканской глубинке! Между прочим, у переправы через реку Джебуня повстречался с земляками, ленинградскими рыбводами. Прямо по Хемингуэю, помните? В «Зеленых холмах Африки» папа Хем поделился с читателями наблюдением: кому доведется ждать парома в африканских джунглях, непременно сыщется в толчее на переправе знакомец. Так и тут вышло. Но это особый разговор...

Съедешь с капшозерского парома (опять же, если повезет), одолеешь безобразно грязный взвоз па сельскую улицу... Село Корбеничи выстроено на высоком месте, лицом к Капшозеру. С другой, северной стороны — Алексеевское озеро, к нему красиво приникло село Озровичи. В западном углу Капшозера (оно протянулось в котловине с востока па запад на восемнадцать километров) деревенька Усть — Кашпа. По дорогам здесь ездят только на тракторах. Выхода на север и северо-запад, в соседний Лодейнопольский район, на его проезжие дороги отсюда нет...

А могло быть. Самую малость чего-то не хватило. Лет двенадцать-пятнадцать тому назад по чьему-то благому почину (сейчас невозможно установить, но чьему) начали строить капитальную дорогу от Хмелезера — куда доходит автобус из Алеховщины — на Корбеничи и далее через озеро хоть в Тихвин, хоть куда. Навозили гравия, щебенки, песка, отсыпали полотно, уложили дренажные трубы, забетонировали основания переправ... И бросили. Уму непостижимо, но факт, сам хаживал этой дорогой, ноги ломал, за голову хватался: трубы растащены, насыпь размыло, горы стройматериалов заросли кипреем, карьеры малинником. Тихвинские районные власти не договорились с лодейнопольскими, к какому району отнесут прилегающую к Капшозеру местность. Покуда местность числилась за Лодейнопольским районом, дорогу строили, как передали Тихвинскому, так и бросили. Во что обошлось, никто не скажет, с кого взыскать, — тем более, не с кого...

Дорога Хмелезеро — Корбеничи (12 км) почему-то значится на карте Ленинградской области как проезжая. Время от времени сюда наезжают туристы издалека. После местные жители вспоминают, смеются, как вытаскивали на тракторах то, что осталось от «жигуленков»...

Накатаешься по асфальту Лодейнополя: хоть из Доможирова в Алеховщину чистыми борами, хоть в Надпорожье по новой автостраде над излучинами, плесами Ояти, завернешь в Хмелезеро, оставишь машину на чьем-нибудь подворье (у вепсов так заведено, любой пустит) — и чапаешь по руинам несбывшейся дороги... (Озровичские жители утречком подхватятся в Хмелезеро пешком, сядут в автобус, в Лодейном родню навестят, магазины обегут, к вечеру дома.) Присядешь на бетонную чушку и призадумаешься о причинах, как так могло случиться в экономически мощной — в сравнении с соседними Вологодской, Новгородской, Псковской, Архангельской — Ленинградской области?

Не только исторические, демографические и другие причины привели к тому, что Вепщина в значительной части выпала из хозяйственного, культурного обихода Ленинградской области, а, прежде всего, ведомственная, административная разобщенность. Изменения в структуре управления сельским хозяйством приводили к увеличению управленческого аппарата, с одной стороны, уменьшению числа действующих лиц на ниве — с другой. Управленческий аппарат, скажем, в Тихвине сегодня численно превосходит все сельское население Вепщины.

Прогрессивное в целом укрупнение неоднозначно... Перевод сельского хозяйства на рельсы крупного интенсивного производства в Ленинградской области был мотивирован крайней нуждой в наикороткие сроки накормить многомиллионный город. В послевоенные годы в нашей области насчитывалось до десяти тысяч мелких колхозов. Решили как-то собрать всех председателей на общее совещание, но в Ленинграде не нашлось зала нужной вместимости. Укрупнили. Главные средства вложили в наиболее отзывчивые к интенсификации агропромышленные предприятия вблизи города, у больших дорог, дали городу необходимый для жизни продукт. Ленинградская область, при ее экономическом потенциале, преуспела в деле укрупнения, интенсификации сельского хозяйства. Однако и здесь, и у нас возникла так называемая «нечерноземная целина» — в пределах Тихвинского, Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского районов.

Сплошная рубка леса в этих местах в пятидесятые годы привела к истощению лесосечного фонда. В память о великом лесном побоище

остались рухнувшие запони, боны, сплавные катера на берегах Капшозера, как танки на поле боя. Русла рек, днища озер на сотни километров вымощены топляком, водоемы надолго обезрыбели... Лес свели, однако вырос новый. Лесосплав в Ленинградской области запретили, того гляди объявится рыба. По счастью, природа обладает шансом регенерации, то есть самовосстановления. Но до известной черты!

Здесь пашня хорошо родила рожь, овес, корнеплоды, картошку. Нынче овес подсевают для приманки медведей. Медведей развелось — жуткое дело! А бобров!.. Здесь травы, если к ним подойти по-хозяйски, я думаю, превзойдут по числу кормовых единиц всю базу животноводства... Голландии. Такого разнотравья, как здесь, я больше нигде не видывал.

Холмы, леса, болота, урочища, пойменные луга на северо-востоке Ленинградской области ничем другим не заменимы в общем экологическом балансе: здесь истоки ручьев, рек, питающих Ладогу, запасы нашей живой воды, той, которой мы, ленинградцы, живы. «Ну так и что же? — могут мне возразить. — И пусть себе прозябает природа, без антропогенного фактора. Чище будет вода». На что отвечу: на моей памяти Генозеро вблизи села Нюрговичи имело изрядное зеркало воды. Нынче оно настолько заросло, заболотилось, не во что стало уду закинуть. А другие лесные озера... Пивало, в них рыбу ловили. И рыба была и вода... Поз крестьянских трудов, без стада в лугу, без санитарной рубки леса природа дичает. Луга заросли ольхой, огороды крапивой. Где было сухо, зачавкало под ногами. Даже грибы пропали. Великими трудами человеческих рук наращенный на пашне слой гумуса ушел в подзол и суглинок...

Такова диалектика. Впрочем, валить на диалектику хозяйственные упущения, всякий раз объясненные условиями текущего момента, стало привычным делом. Но надо когда-нибудь и признаться — в интересах нашего завтра: если бы не пагубная разобщенность приложения сил и ответственности, если бы комплексный подход, нашелся бы всему хозяин, посчитал бы, взвесил, разумно распределил средства, поимел бы в виду не только скорую выгоду, но и человеческий фактор... Могло и не быть брошенных деревень в Ленинградской области. Запустение в сельской глубинке — одно из

следствий застоя. Кажется, так, если взглянуть на дело по-новому, в свете последних партийных решений.

Белые пятна на карте хозяйствования решительно невозможны в наше время перемен и новых подходов, будь то страна, область, район, сельсовет. В особенности это касается Ленинградской области с ее экономическим потенциалом. Пора двинуть с места воз и на Вепсчипе... Хочется закончить фразу принятым в таких случаях: «пока не поздно». Но воздержусь: «пока не поздно» расхолаживает, дает надежду еще потянуть, а там станет поздно и гора с плеч: с нас взятки гладки. К тому же всегда найдутся дела поважней, спрос за которые — по другому телефону.

На этом я заканчиваю негативную часть моего письма, перехожу к позитиву. Но позитив па Вепсовской возвышенности тоже не без ухабов. Принимались и тут за дело, тянули воз... но как-то порознь, недружно... Вспоминается такой случай: Новоладожский рыболовецкий колхоз имени Калинина решил (решился-таки!) построить у истока реки Канши форелевое хозяйство, то есть расширить рыбоводство, успешно ведущееся на Пашозере. Без дорог, на тягачах привезли материалы, соорудили садки-бассейны с проточной водой, отгулочные ванны, необходимые помещения. Принялись строить поселок для рыбаков: облюбовали пригожее место на берегу Капшозера, чтобы из окон видеть, как садится солнце в лоно вод, запроектировали каждой семье по коттеджу, вырыли котлованы, заложили фундаменты. И тут, хотите — верьте, хотите — не верьте... На строительство наложил свою хозяйскую руку совхоз «Пашозерский»: земля наша, не отдадим. Пустующей вокруг земли — за целое лето не обойдешь, но уперлись. «Пашозерский» совхоз — в Тихвинском районе, колхоз имени Калинина — в Волховском. Хозяина, чтобы образумить супротивников, объяснить, что дело-то одно и стройка общая, наверху не сыскалось. Так и бросили стройку, сам видел, хоть плачь: на фундаментах вырос кипрей.

Помню, как переживал рухнувшее начинание бригадир рыбоводов на Капш-озере, здешний, родом из Озровичей, вепс Николай Николаевич Доркичев. Переживал не только за форелевое хозяйство, а за весь свой край: хотелось вдохнуть в него жизнь, чтобы топоры стучали, дым бы курился над домами, рабочие места открылись для здешних...

Под Усть — Капшой рыбоводы построили наплавной мост через Капшозеро. С обидой рассказывал мне Доркичев: «Предлагали Корбеничскому сельсовету построить мост против деревни, чтобы на плоту не кувыряться; у нас строительная бригада, и материалы наши, и опыт строительства подобного моста. Отказались. Почему? Чего ждут? На кого надеются? На сессии сельсовета план принимали, в нем ни одного конкретного пункта по благоустройству, развитию или еще чему-нибудь такому. Вот в магазине в Корбеничах пол провалился, того гляди магазин закроют. А ремонтировать — ни-ни».

Итак, рыбководство — пока что единственный род деятельности за Харагинской горой, с перспективой на будущее. Много лет по инициативе бывшего председателя колхоза имени Калинина Алексея Николаевича Суханова строят плотины на лесных речках на Вепсчине, отравляют «сорную» рыбу в озерах, потом «обрыбляют». При здешних глуши, бездорожье, ведомственной разобщенности, недостаточности сил и средств у колхоза, новизне начинания не все выходит так, как хотелось бы, затягиваются сроки получения рыбного урожая. Но целеустремленность, упорство новолодожских рыбководов внушают веру в то, что выйдет толк из начатого ими дела. Пашозероковое форелевое хозяйство дает вполне весомый продукт.

На доске планов и показателей у входа в правление колхоза имени Калинина в Новой Ладоге улов рыбы в Ладожском озере на 1990 год планируется почти на четверть меньше, чем попало в сети в 1985 году. Проблема экологического неблагополучия на Ладоге имеет немаловажный рыбный аспект: хуже вода, меньше рыбы. Потерю улова в озере колхоз компенсирует активизацией рыбководства на водоемах востока нашей области; здесь цифры плана имеют тенденцию роста. Не только строят форелевые фермы, запускают в лесные озера пелядь (сначала надо извести шук, окуней), но сюда же, в верховья рек, текущих в Ладогу, завозят молодь сига — главной ладожской рыбы. Глядишь, сиги подрастут да и скатятся по Капше, Паше, Ояти, Свири в родную Ладогу, восстановится сиговое стадо — залог рыбацкой удачи. Ну конечно, тут есть доля риска: скатятся ли (щуки с окунями тоже не дремлют), но за дело колхоз взялся круто, уже прорубили просеку под дорогу из Харагеничей в Усть — Капшу.

После выхода Постановления об использовании пустующих жилых домов и приусадебных участков, находящихся в сельской

местности, может быть, удастся купить здесь избу. Хотя есть в постановлении серьезные оговорки. Насчет «излишков сельскохозяйственной продукции» ничего не могу пообещать. И землевладельцы–вепсы на своих грядках «излишков» не выращивают, только- только к столу. Разве что «лукову траву». Да если и вырастишь «излишек», сдать его здесь решительно некому, вывезти не на чем.

Минувшим летом в начале июня я был в Ставрополе, там всю ели молодую картошку, редиску, огурцы–помидоры, петрушку с укропом, клубнику с черешней, розы в садах зацвели. На Вепсчине розы не растут. В холодное, мокрое лето вепсы до сентября картошки не капывали, а в сентябре поджидай морозов. В очень нужном, своевременном постановлении о купле–продаже домов в опустевших деревнях не учтены климатические, почвенные и другие различия сельских местностей в России. И дома, в основном, покупают не земледельцы–огородники, а пенсионеры, военные отставники, лица свободных профессий. Испокон веков художники на Руси жилали в селах, в глубинках, не только морковку выращивали. Это надо бы тоже поиметь в виду.

Выйду из избы на волю, тишина обступит со всех сторон, после города ушам больно. Травы по пояс до самого озера, па окруживших деревню пригорках — до самого леса. Сельскую улицу выкосить, сена хватит на зиму корове Риме — одна и останется в Нюрговичах, если Вихровы уедут. Александр Тякляшон, тракторист (тоже верхом ездит в Корбеничи на работу), наладился перебраться жить к сыну на лесопункт в Курбу...

Вижу, как по крутосклону от озера к своей избе тянет на спине корзину с травой Федор Иванович Торяков, 1901 года рождения, коренной здешний житель, первый колхоз в Нюрговичах создавал, войну прошел, вернулся с двумя ранениями, с медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», председательствовал в колхозе, поставил колхоз на ноги, после укрупнения был бригадиром. Податься Федору Ивановичу со своей старухой Татьяной Максимовной из Нюрговичей некуда, родни никого не осталось, так и кукуют в брошенной деревне, сами себя кормят с огорода да еще каждое лето сдают десяток барашков на мясо — вносят свой вклад в решение Продовольственной программы.

Еще постоянно жительствоуют в Нюрговичах Иван Тякляшов с женой Маленькой Машей. Сама себя нарекла Маленькой. Маленькая да удаленькая: с мужиком сена накосят, стога сметают для совхоза и для себя; Маленькая Маша чуть возвышается над травой, только косынку ее и видно. Иван рыбаком в колхозе имени Калинина, его рабочее место на Гагарьем озере: плотина, дом рыбацкий, еще при Суханове построенный. Построили, Суханов распорядился: «Дом не запирачь, а то сожгут». В дом приезжают кому не лень из Пашозера, Шугозера, Тихвина, Ленинграда; Иван Тякляшов наблюдает порядок. Вокруг Гагарьего озера боры: грибы, черника, брусника. Весной и осенью на Гагарьем озере делают остановку лебеди...

Время от времени открывают плотину, озеро осушают, чтобы задохлись щуки с окунями. Закроют плотину, вода опять набежит. В озеро запустили молодь сигов. Забот Ивану хватает.

Вот, собственно, и весь сказ о брошенной деревне Нюрговичи. Лет пять тому назад, когда я пришел сюда впервые, почти в каждой избе теплилась жизнь, выгуливалось стадо совхозных бычков, то есть была у людей работа. Совхоз построил поместительный скотный двор, с кирпичными стойками, под шифером. Двор целехонек до сего времени, так и стоит памятником нашему «богатству», нашей бесхозяйственности.

Судьба вепсовской деревни на северо–востоке Ленинградской области та же, что и русского населения Приладожья, Прионежья, но есть в ней нечто особенное: национальный характер вепса, запечатленная в языке, напеве, фольклоре, обряде самобытная культура!.. И — вполне естественная потребность каждого вепса принадлежать своему народу; любая народность, даже самая маленькая, самоценна, неповторима в человеческой семье, в истории человечества...

В самом начале моего долгого пути из Харагеничей в Нюрговичи зашел у нас разговор с Василием Богдановым (помните, печник из Ленинграда) о его национальности. «Я когда паспорт получал, — рассказал мне Василий, — меня спрашивают, какая национальность. Я говорю: вепс. Мне говорят, такой национальности нет. И записали русским...»

Для концовки к очерку о поездке на Вепсчину у меня не находится мажорной ноты. Вот разве что звуки дошедшей до тех мест

стройки: тянут—таки дорогу на Капшозеро, мост построят и дальше, в Лодейнопольский район... Но и тут бедой пахнет: чуть впереди дорожников идут мелиораторы; уже дошли до соседней с Харагеничами деревни Лаврово. В Лаврове в речке такая чистая вода была — форель ловилась. Колодцев там сроду не капывали. Мелиораторы прорыли свои каналы, уложили глиняные трубки, совхоз приращенную пашню химией завалил — воду в реке нельзя стало пить. Лавровские стоном стонут, без воды—то...

Опять у людей забыли спросить; не зная броду, полезли в воду.

ВИД НА ВАЛААМЕ

Когда плывешь на остров Валаам на туристическом теплоходе, во вводной беседе к путешествию тебя понапутствуют: «Это требует определенных душевных усилий...» Правда, требует — и не малых. На Валааме попадаешь в сгущенную атмосферу воздействия: природы, искусства, истории; прошлое будто переливается в настоящее, однако гармонии нет: не малиновым перезвоном повещает о себе монастырский собор на горе, над морем цветущей сирени, а буханьем реставраторов по куполу. Сколько лет уж я бываю на Валааме, все кроют перекрывают...

Спросил у нового директора музея–заповедника, только что приехавшего из Ленинграда, Сергея Станиславовича Клитина, что будет в соборе, когда его отреставрируют. Он без заминки ответил: будет концертный зал и картинная галерея. Я привел ему альтернативный вариант... Его высказал — в интервью «Огоньку» — председатель Совета по делам религий при Совмине СССР К. М. Харчев (№ 21, май 1988 г.); речь шла о возможности передачи Русской православной церкви некоторых храмовых строений. «Что же касается Валаама, — сказал председатель Совета, — то вопрос этот сейчас обсуждается (ко времени публикации моего текста, надо думать, решится). Мое личное мнение: музей там может вполне соседствовать с монастырем. Уверен, что совместными усилиями они приведут в достойный вид этот бесценный памятник нашей истории и архитектуры». Что думает директор музея на этот счет?

Клитин не стал поспешать с ответом, тоже задал вопрос:

— Кто знает, какое число богомольцев и разного рода посетителей привлечет к себе действующий монастырь? На острове заповедный режим. Наша нерешенная проблема номер один: непомерное число туристов при крайне хрупкой природной среде Валаама. За сезон у нас бывает до ста сорока тысяч только плановых посещений, не говоря о других. Подсчитано, что остров может выдержать максимум семьдесят тысяч.

Приведу в этой связи еще одну цифру, слышанную на Валааме: толпища туристов за сезон увозят на подошвах своих кроссовок до

двухсот килограммов почвы — той самой, что монахи десятилетиями тащили на остров — везли на лодках, в мешках — гумуса на скалах Валаама тонюсенький слой; здешние «сады гефсиманские» возвращены на привозной земле, на бережно копившемся перегное.

Нынче вытаптывание Валаама заметно усилилось (той его части, что отдана под туристские маршруты): Кижы пришли в упадок, утратился былой к ним интерес; все суда — ленинградские, волжские, московские — правят к манящему, загадочному, издалека видному (когда звонили колокола Валаамского монастыря, слышно было на сортавальском берегу), будто парящему, как мираж, над озером–морем острову. Десантирование людских масс на берег Большой Никоновской бухты на Валааме подобно приливам морским и отливам. Иной раз пришвартовуются к причалу — борт в борт — сразу три лайнера: один четырехпалубный, у двух других палуб поменьше... (Более одного суперлайнера не позволяет принимать устав заповедника; пока один стоит у причала Никоновской бухты, другие трутся бортами у острова Пиласари, там предусмотрена «зеленая стоянка»).

Как же быть с непереносимыми для природной плоти Валаама наплывами людских масс? У директора музея–заповедника Клитина есть на этот счет твердая установка: покончить с произволом туристско–экскурсионных служб; расписание, графики, регламент посещений передать в ведение музея; массовость урезать наполовину, зато увеличить время пребывания: экскурсии в три с половиной часа мало для Валаама, за этим не стоит плыть киселя хлебать. Очень здравая установка! Чтобы она осуществилась, надо расширить права музея, дать ему шанс утвердиться в роли главного звена объединения. Эта «тонкость» просматривается чуть не в каждой валаамской проблеме: объединения не видать, разъединения сколько угодно.

Однако пройдемся с экскурсией по святым местам Валаама. Экскурсовод (Валаамский музей зимой готовит экскурсоводов на курсах в Ленинграде) — молодая женщина в светлых брюках — «бананах» в полоску, в черной блузе, осмуглевшая на валаамском солнце, — вам скажет, что здешние диабазы нагреваются летом и отдают тепло атмосфере, от чего над островом как бы купол тепла, для плывущих по небу облаков и туч неодолимый; на острове солнечных дней ровно на тридцать больше, чем где–то там... О! тридцать дней —

экое благо! Допустим, что в похвальном слове острову валаамская сирена малость преувеличивает; все равно слушать ее отрадно.

У экскурсовода под мышкой красная папка: в ней виды того, что некогда было. Что случилось, увидите сами. И в ней портрет игумена Валаамского монастыря прошлого века Дамаскина — главного действующего лица островной истории — духовного пастыря и прораба всего, что возведено на острове, дипломата, купца, садовника, лесовода, мелиоратора, эколога... Выходец из Тверской губернии, крестьянский сын Дамиан в тридцатые годы прошлого века добрался до Валаама, прошел путь от послушника, инока до протоиерея, настоятеля монастыря; проигуменствовал почти сорок лет и почил в бозе, покоится на Игуменском кладбище близ Спасо — Преображенского монастыря.

Между тем, голос экскурсовода разносится далеко, хорошо резонирует, сплетается с трезвоном жаворонков, стрекотаньем скворцов...

— Вы видите перед собой здание фермы. Если бы вам не сказали, что это ферма, вы бы могли подумать что угодно... Посмотрите, как искусно, красиво вкраплены арочные окна в общий архитектурный облик строения. Но это не элемент декора, они сделаны из самой утилитарной потребности проветривать сено, которое хранилось под кровлей... Видите, как красиво построены пандусы — по ним завозили сено в сенник. Перекрытие над собственно скотным двором имело определенного размера отверстия, чтобы сбрасывать сено с сеновала в кормушки. На ферме существовал монорельс... По нему развозилось к стойлам то, что необходимо коровам для, как теперь говорят, отдачи удоев... Я, извиняюсь, не специалист в этой области, точно не знаю, чем именно монахи кормили своих коров, но доподлинно известно, что из молока они производили сметану, масло, сыр, творог; все это здесь же упаковывалось в бочонки... Вон там, у озера, в пещере хранился все лето заготовленный ранней весной лед, там был холодильник. На озере Сяся-ярви, которое вы видите перед собой — оно проточное, с выходом в Ладогу, — имелась пристань; продукты животноводства грузились на суда, отправлялись в Петербург, Сортавалу, Кексгольм, куда угодно. Сами монахи скоромную пищу употребляли в малых количествах, у них были продолжительные посты, когда не ели даже рыбу. Выручка от

продуктов шла на пользу монастырского хозяйства, строительство дорог, каналов, дренажных канав, развитие самых разнообразных сношений с миром...

— Все процессы на ферме были механизированы. Паровую машину изготовили местные умельцы, как бы теперь сказали, рационализаторы... Обратите внимание, какой насыщенный, бордовый, переходящий в алый цвет у кирпича, как будто кирпичи только что вынули из печи после обжига, еще не остыли. Ни один кирпич за сто и более лет не выкрошился, не состарился. До сих пор не определен состав цемента, употреблявшегося монахами при строительстве. Посмотрите, как хорошо сохранились прожилки раствора в пазах между кирпичами, как будто на них — живое прикосновение пальцев валаамских каменщиков... У монастыря были свои кирпичные заводы; кирпичи производили из местных глин, отсюда их особенный цвет. На острове культивировались и разнообразные производства промыслы: смолокурное, ткацкое, ложкарное...

Л вон в том строении жили монахи, собственно, обслуживающий персонал фермы. Там же помещался рыбопродуктовый заводик: в ванночках оплодотворяли икру палии, сига, выращивали мальков и отпускали их в озеро, до сорока тысяч в год. Что еще было в этом — правда же, удивительном! — месте, так это... Что бы вы думали? Очистные сооружения. Валаамские монахи чуть не за двести лет до того, как писатель Распутин поднял голос в защиту Байкала, додумались до такой простой мысли, что окружающую природу надо беречь, стоки с животноводческой фермы очищать, прежде чем они попадут в ту воду, которую мы пьем, стоки фермы шли по специальному желобу, попадали сначала в одну отстойную яму, потом в другую, обрабатывались негашеной известью, еще чем-то...

Когда эмоциональная речь нашего гида, все более увлекающегося собственными, на ходу творимыми картинами некогда бывшей здесь то ли действительности, то ли легенды, коснулась особо интересного предмета: какие сады разводили вон там, на пологих склонах в межозерье, какие арбузы выращивали — по восемь килограммов в кавуне, а тыквы — по пуду! Когда нам сказали, что к монашескому трапезному столу подавали зараз по пять пудов клубники, смородины, малины, крыжовника, мы впали в легкий экстаз, в непроизвольную

эйфорию... и на лице у нашего гида проступило устало-удовлетворенное выражение хорошо выполненной работы.

К сказанному об уникальной валаамской ферме, снаружи похожей на великокняжеский дворец (после закрытия монастыря в 1944 году, когда монахи по замерзшей Ладоге ушли в Финляндию, от фермы, как и от других строений на Яалаамс, остались одни стены; иное все прахом пошло), необходимо добавить, что недавно ферму с прилегающими угодьями взял в аренду у Валаамского лесхоза вдруг сколотившийся в Ленинграде кооператив. Ферму отремонтировали, кое-какую скотину завели, теплицу построили, рассаду огуречную поливают. Как пойдет дальше, кто же его знает: валаамские кооператоры — горожане, не больно сведущие в крестьянском труде. Но бог им в помощь! За благое дело взялись!

Со мною в гостинице у монастыря в одном номере жил садовод из Мичуринска (и после меня остался жить, на все лето приехал) Саша Верзилин, старший научный сотрудник плодовоовощного института, по договору с лесхозом работал в старых монастырских садах, где яблоням много за сто лет, стволы их будто заостенели, по-старушечьи переломились в поясницах, но все цветут и плодоносят. Саша яблони опылял, прививал, за ягодниками ухаживал, обрывку делал, какие-то участки осушал, какие-то орошал. И так он рьяно, так увлеченно, от зари до зари, от белой ночи прихватывая, работал, что любо-дорого было видеть работника на Валааме — одного из немногих (с помощниками) среди толп празднующейся публики, приезжих (и местных) прожектеров, консультантов, репортеров, живописцев (те, правда, тоже работают не покладая рук). Валааму нужен работник, чтобы с утра рукава засучивал, умел канаву прорыть (в заповедные кущи на Валааме с техникой не сунешься), яблоню привить, корову подоить. А работника — где его взять? Все туристы, туристы...

Уметь или не уметь — на Валааме это то же, что быть или не быть. Да и не только на Валааме...

Зашел к председателю сельсовета Анатолию Михайловичу Свинцову, молодому еще человеку, здешнему уроженцу, плотнику по профессии, светлоусому, озерно-голубоглазому. Он, должно быть, находился под впечатлением какого-то разговора или на совещании побывал. Что-то недоговоренное в нем бродило:

— Вот, пожалуйста... Готовы отдать полякам: они отреставрируют в лучшем виде. Или финнам — те и подавно. А мы то сами? Что ли уж мы ничего не умеем? Руки опустили? Монахи умели — такие же были русские люди. А мы?..

Столько отшумело совещаний, утрясений, согласований с тех пор, как Анатолий Михайлович Свинцов поменял плотницкий инструмент на стило председателя. И что же? Человек он горячий, руки у него чешутся: все бы сам переделал, а рук не хватает на все...

— Объявили на острове зоны строгой заповедности. Прекрасно! Стали ходить по дорожкам, не топчут леса. По и лесхоз умыл руки: пусть все будет, как есть, положимся на божью волю. В заповедные зоны глаз не, кажут, санитарных рубок не ведут, валежник не убирают, каналы, дренажные канавы не чистят. Природа нам за это спасибо не скажет. Па Валааме ей помощь нужна!

Валаамские проблемы туго связаны в узел; хвост вытащишь, нос увязишь. Вот горячо спорили: строить грузовой причал в том месте или в этом? Построить причал — лишиться чистой (директор музея сказал: «недозагрязненной») воды. Кстати, Валаам — последнее место на Ладоге, где озерную воду пьют не хлорированной... А причал помаленьку строят. Вез причала не осуществить реконструкцию памятников, не построить поселка. Стали забивать в дно сваи, а там все вымощено топляком, бывало, целые гонки леса уходили на дно. Нет худа без добра: топляк со дна подняли, сам видел целые штабеля леса на берегу Монастырской бухты. Будет чем в зиму печки топить. Кажется, это первый опыт такого рода на Ладоге: топляки выловить на дрова; есть чему другим поучиться!

Население Валаама исчисляется нынче в 450 душ. Из них сотня пенсионеров, главным образом бабок. Порядочно ребятишек. Предлагали переселить старых людей на материк, жилье обещали, дом престарелых. А бабки ни в какую: на Игуменском кладбище будем лежать, больше нигде. (Поселковое кладбище сразу за оградой Игуменского.)

Будут строить поселок. Есть несколько вариантов проекта. Руководство музея, советская власть на острове склоняются к коттеджному варианту. И правда, кажется, так-то оно бы лучше. Однако проект не утрясен. Непреходящая тряска воцарилась в общественной атмосфере острова, как некий циклон. А отойдешь

чуток от монастырских стен, хоть в ту сторону, хоть в эту, — и погрузишься в благоуханную тишину, в немислимую благодать...

Так летом, а в зиму? Вертолеты в непогоду на Валаам не летают. Ледовая дорога в Сортавалу установится хорошо если в январе. Да и то... ездить по льду рискованно. На Валааме говорят: «Это наша дорога жизни». Для взлетно-посадочной полосы на острове не находится места. Провести бы электричество с материка, не мучиться бы с собственным движком-живопырккой, но промышленность у нас не производит кабеля нужной прочности.

На острове любят рисовать в воображении ласкающие душу картины прошлого (мы уже имели случай убедиться в этом на экскурсии над Никоновской бухтой). И так яге охотно воодушевляются видом на будущее, ибо корабль по имени Валаам не стоит на месте, плывет во времени по тому же курсу, что все наше общество. В будущем заглядывают чуть-чуть за грань реальности — это свойственно валаамцам. (Я думаю, что Валаам — наилучшее место для наших фантастов.) Говорят, что в эту зиму из Сортавалы на остров пустят транспортное средство на воздушной подушке. Не в эту, так в следующую. Или купят в Финляндии озерный ледоколычик, там у них такие есть. Еще говорят: вот вступим в деловые отношения с финскими туристическими фирмами (уже вступили; нынче на Валааме побывали первые финские туристы), они перестроят старую монастырскую гостиницу в отель высшего класса. Или еще: уж над островом протянут канатную дорогу, всего на трех опорах, тогда турист вообще не ступит на почву, все будет озирать панорамно.

Это в будущем, а в настоящем... Впрочем, за что ни возьмись на Валааме, без сопоставления с прошлым не обойдешься: прошлое подпирает своей материальной неоспоримостью. И статистической... Упомянутую монастырскую гостиницу построили в 1852 году — на двести гостей. При нужде поселяли тысячу. На праздники в монастырь съезжалось до четырех тысяч паломников (пароходная линия связала Валаам с Петербургом в 1843 году) — и тоже всем находился приют. Нынче в гостинице три комнаты — двенадцать мест.

Было на Валааме до 1944 года двенадцать скитов; каждый скит — монастырь в миниатюре, с храмом, кельями для братии, трапезной, комплексным подсобным хозяйством, промыслами, лесопосадками,

собственным природным микроклиматом. До наших дней сохранилось всего пять скитов, и те на ладан дышат.

Однако корабль плывет... Я помню времена, когда в монастыре помещался дом инвалидов; главный предмет ввоза на остров составляли ящики с зельем — все разваливалось, тонуло, погибало; обитель превратилась в узилище; души человеческие взывали к участию — в непробудной, без отклика, немоте, сгустившейся над Валаамом. Нашли в себе сил выбраться из трясины, выплыть...

В 1979 году постановлением Совета Министров РСФСР Валааму присвоен статус историко–архитектурного и природного музея. Позже на острове открылся лесхоз, подчиненный министерству лесного хозяйства Карелии, взял на себя не только лесоохранные функции, по и хозяйственную деятельность: ферму, сады, мелиорацию... Казалось бы, все должно образоваться путем, но и добра не бывает без худа: стало давать о себе знать некое двоевластие на острове, чем дальше, тем ощутимее, болезненнее. У двух нянек дитя без глаза. Если бы только у двух... Музей на Валааме существует в ранге филиала Петрозаводского музея, проект реконструкции выработывает Леягипрогор. Общество содействия Валааму — при Фонде культуры в Ленинграде. Представьте себе всю сложность многоадресного соподчинения — утрясения. Каково сплавать отсюда хоть в Ленинград, хоть в Петрозаводск?!

И все же, и все же... Тому, кто бывал на острове десять и более лет тому назад, открываются ныне благодетельные перемены. Издалека тепло сияют в зелени и синеве наново вызолоченные луковки, кресты — на скитах, часовнях; прямо у трапа ты попадаешь под неусыпное око лесничего в фуражке: не соступишь с маршрутной тропы.

Плывут по озеру к острову белые теплоходы. Большие швартуются в Большой Никоновской бухте, маленькие «омичи», из Сортавалы и Приозерска, в Монастырской. Здесь туристов меньше, экскурсовод один, Валаам они видят с другого бока. Их ведут на Игуменское кладбище сначала пихтовой аллеей; у высокорослых, остроголовых, светлокорых пихт скорбно опущены руки–ветви. Пихтовая аллея переходит в лиственничную, в дубовую рощу...

В этом месте приведу цитату из книги А. П. Андреева «Ладожское озеро», изданной в Петербурге в 1875 году. Автор пишет о Валааме;

«...В питомниках (школах, рассадниках) разведены кедры, каштаны, пихты, лиственница, лесной орех, тополь серебристый, душистый, вяз, дуб, клен, ясень и др. Некоторые из этих деревьев посажены по острову, в более закрытых от непогод местах».

На просторном Игуменском кладбище, представляющем собою парк с краснокирпичным собором посередине, покоятся шестеро игуменов — настоятелей Валаамского монастыря в разное время. Первым в ряду... Впрочем, на кресте есть хорошо сохранившаяся надпись: «Сей св. крест оусердием настоятеля Валаамской Обители игумена Дамаскина сооружен в незабвенную память бывшего настоятеля этого же монастыря великого старца Игумена Назария. Крест поставлен при его каменной пустынной келпи, в которой он во время своего настоятельства часто оуединялся для духовного безмолвия, а после постоянно жил несколько лет».

Ближе всех к собору надгробие самого Дамаскина: крест черного мрамора на розово-мраморном постаменте. «Раб божий Игумен Дамаскин, Валаамского монастыря настоятель. Скончался 23 генваря 1881 года на 86 году жизни. Молю же вы братие стойте в вере мужайтесь оутверждайтесь». Еще в ряду игумены: Виталий, Пафнутий, Ионофан. Последним похоронен на Игуменском кладбище игумен Павлин, в 1933 году.

Монастырское кладбище у самой стены монастыря. Мраморных надгробий на нем нет, только каменные плитки, — увы! — заброшенные, неухоженные, со стершимися надписями, зачастую расколотые. А под каждой плиткой — целый мир, неведомая нам жизнь человеческого духа, подвигающая к раздумью, душевному усилию... «Раб божий монах Илиодор. С-Петербургский мещанин. Сконч. 20 апреля 1920». «Здесь похоронено тело в бозе, почившего раба монаха Сергия, бывшего Олонецкого купца Семена Федоровича Чусова». «Инок Сергей. В миру князь Алексей Борисович Мещерский». Рабы божии: Автоном, Софроний, Пармений, Авенир, Лев, Антонин, Макарий, Никифор, Власий, Вавила, Виссарион, Мефодий. Одинаковых двух имен монахам обители не давали, каждому находилось свое. Монашеское имя надо было заслужить — послушанием. «Раб божий послушник Василий Михайлов. Сконч. 26 апреля 1871 г. на 23 г. За святое послушание перешел Предтеченскпй залив по разломанному и волнами вздымаемому льду».

Послушание требовало, по–нашему говоря, героического поступка вплоть до самопожертвования.

Монахи в Валаамской обители отправлялись в мир иной в свои цветущие годы (дольше всех прожил игумен Дамаскин). Судя по надписям на камнях на Монастырском кладбище, мало кто до шестидесяти доживал. Труды их были безмерно тяжки, бури над островом немилосердны, зимы долги, воды студены; какую чашу тоски–отчаяния — покуда наступит душевное просветление — испили они на каменном острове посреди озера–моря, того нам знать не дано. Нам они оставили по себе красоту и благоухание.

Известно, что валаамский благодетель игумен Дамаскин был властен, требовательно жесток к братии — пусть для пользы дела. И к себе тоже.

У монастырских врат, над каменной лестницей, ведущей к бухте, — самый величественный на острове монумент. На мраморе (благо, мрамор добывался неподалеку, под Сортавалой) высечено: «Высочайшие особы, изволившие посетить Валаамский монастырь.

1. Благословеннейший Государь ИМПЕРАТОР Петр Великий. Время посещения Им Валаама неизвестно, сохранилось только предание о Его посещении. По воле этого Государя возобновлен Валаамский монастырь 1715, после столетнего запустения вследствие нашествия Шведов.

2. Благочестивейший Государь ИМПЕРАТОР Александр I Благословенный. Он посетил Обитель в августе месяце 1819 г., в Санктпетербурге устроено с церковью монастырское подворье».

Далее еще один Александр, изрядное количество великих князей и княгинь...

Однако отвлечемся тут в сторону... Собственно, не отвлечемся, а приблизимся к тому главному, ради чего ведется наш разговор: чем владеем, чему наследовать препоручила нам отечественная история (отринуть — в этом мы преуспели), какой урок преподавала на Валааме. Так вот о Петре... В наше время царствование Петра Первого, его реформы, самая фигура, не уместяющаяся в канонические рамки, подвергаются поистине огульному, безудержному разносу. В пункте порицания Петра сходятся крайние точки наших, условно говоря, «левых» и «правых». Петра трактуют чуть ли не как предтечу сталинского деспотизма, формы его правления как прообраз хорошо

нам знакомой административно–бюрократической машины. Без колебаний, с какой–то оголтелостью выбрасывая за борт прогресса Петра, не замечают таких «малостей», как Валаам: его бы у нас не было без Петра. Не говоря о Петербурге. Какой истории вожделеют? Чему бы мы наследовали? Давайте посчитаем!

Поднимемся на звонницу Никольского скита — и откроется взору Ладога в ее безбрежии, первозданной чистоте цвета, оттенков, распахнется божественно прекрасный вид на Валаам. Давайте поклонимся нашему прошлому — усердию, умельству, мужеству русских людей, явивших нам и это рукотворное чудо! И — засучим рукава: на Валааме так много несделанной работы. Не сделаем мы — больше некому.

ВСЕ ВМЕСТЕ ВЗЯТОЕ

Заболел геолог Сергей Цветков... Я-то его знаю не как геолога, а как публициста, секретаря экологической комиссии при Союзе писателей. Такой он активный защитник Ладоги, такой непримиримый противник дамбы, столько у него на памяти всевозможных фактов, свидетельств, цитат, улик против тех, кто... Столь ко в нем пылу, мужества громко сказать, что думает, ни на йоту не отступит под чьим бы то ни было нажимом. И молод Сергей Цветков, из новых, ничем таким застойным, тем более культовым не придавленный, не припугнутый, с толку не сбитый — ясный, целенаправленный, экологически подкованный. И вот Сергей Цветков заболел гаффской болезнью. Впервые эта болезнь выделена в особый, нашего времени недуг на Яалтикс, ей присвоено имя залива. Произросли сине зеленые водоросли, при цветении выделили такое количество яду, что ядовитой стала вода, в воде рыба... Где-то я прочитал, что по убойной силе яд сине-зеленых соизмерим с ядом гюрзы и кобры...

О сине-зеленых мы уже упоминали в нашем плаче по Ладоге; нынче, в анафемски жаркое лето, озеро зацвело, даже на студено чистых прежде глубоководьях. Сергей Цветков работал в экспедиции на акватории Ладоги, пил, как все, забортную воду, ел рыбу — и заболел гаффской болезнью, с высокой температурой, признаками отравления, судорогами в мышцах. Врач, к которому обратился Цветков, поставил другой диагноз болезни, гаффскую мало кто знает. Диагноз уточнил профессор-биолог Владимир Михайлович Бреслер, сподвижник Цветкова по экологическому движению в нашем городе. Осмотрел, расспросил Сергея Цветкова, со свойственной ему прямою «обрадовал» пациента: «Батенька мой, у вас же полная картина гаффской болезни...»

У меня есть конспекты лекции страстных монологов — профессора Бреслера, произнесенных на экологической комиссии и в других местах, о том, к чему приводит поступление в биосферу отходов нашей с вами активной деятельности (и жизнедеятельности), какие могут воспоследовать мутации, то есть изменения наследственных свойств болезнетворных бактерий, помещаемых в

общий котел, какие нас подстерегают непредсказуемые лиха. «Непредсказуемые» — мы при бегаем к этому эвфемизму для самоуспокоения: то ли будет, то ли нет, то ли дождик, то ли снег. У Бреслера есть биохимические данные — и прогнозы: в отношении Ладоги, Невы, Невской губы. Его тема в науке: как воздействуют биогены, химические соединения в окружающей нас среде на человеческий организм, каковы пределы наших с вами защитных средств — на уровне клетки. Увы, защита уступчива, особенно у ребенка. Да и у взрослого тоже...

По счастью, Сергей Цветков выздоровел: вовремя поставили верный диагноз, правильно лечили в меру нашей фармакопеи (очень скромная мера!); молодой организм справился с болезнью. Пока что...

Я собрался ехать на Ладогу. Сергей Цветков посмотрел мне в глаза как-то особенно горестно, проникновенно, предостерег: «Только рыбу не ешьте, ту, что в траве болтается: лещей, окуней». Не есть на Ладоге рыбу я еще не умею, как и те, кто ее ловит, не говоря о тех, для кого она ловится (совершенно неведомый контингент: ладожская рыба никогда нигде не продается). Так и вышло в доме штатного рыбака колхоза имени Калинина Евгения Павловича Исакова, в Кобоне. Хозяйка подала на стол жареного леща, мы его съели, похваливая. И ничего. Пока что...

Леща не стал есть один из гостей, заверил хозяйку с хозяином, что рыбу вообще исключил из рациона, как и многое, перевалив на девятый десяток. Этим гостем был вице-адмирал в отставке Виктор Сергеевич Чероков, в войну командовавший Ладожской флотилией и вообще всем, что плыло тогда по Ладоге. Каждый год адмирал приезжает из Москвы в Новую Ладогу, Кобону, Осиновец — в День Военно — Морского Флота.

Приезжает старый адмирал на Ладогу... Начал торжественно фразу, но продолжения не нашел. Адмирал состарился, Ладога стала другая, то есть по-другому нынче о Ладоге говорят, чем во времена молодости вице-адмирала Черокова (он тогда был капитаном первого ранга): Ладога тогда спасала Город; нынче Городу впору спасать Ладогу. Больше спасать некому, разве что стране, но у страны еще и Байкал, и Арал, и последствия Чернобыля...

В усилиях по спасению озера, давшего Городу жизнь, так нужна нам Память — отношение к озеру как к родственно-близкому,

жизнетворящему существу. «Недаром Ладога родная дорогой жизни названа!» Ладожский ветеран вице адмирал Чероков побуждает к Памяти тех, кто вершит дела на озере. И Алексей Николаевич Суханов тоже. По праву боевого товарища встречает, сопровождает адмирала. Нынче поехали в Леднево, там размещалась диспетчерская служба флотилии. Постояли над печально—одиноким могилкой Аллы Ткаченко — связистки, отважной новолодожской девушки; смертельно раненная в одну из бомбежек, не отошла от аппарата, до последнего вздоха передавала приказы штаба на суда...

Жена Виктора Сергеевича Черокова Нина Андреевна, прошедшая войну вместе с мужем, вот здесь, на Ладоге, сестрой милосердия, сказала:

Виктор Сергеевич столько сил положил, в правительство обращался, чтобы всех, кто плавал в войну на Ладоге, и в береговых службах... чтобы их уравнять в нравах с участниками войны. Вот Алла Ткаченко, еще была связистка Тамара Шибанова — это же настоящие герои!

На обратном пути от чуть заметных копаней на берегу канала, заросших трестой, травой — бывших землянок, блиндажей диспетчерской службы Ладожской флотилии — в деревню Леднево Нина Андреевна подхватила мужа под руку, по—молодому счастливым голосом рассказала о том, как...

Мы с мужем жили в доме отдыха под Москвой... Как всегда, под ручку гуляем... Нам говорят: «Вы что, молодожены, все под ручку да под ручку?» Я говорю: «Молодожены! Пятьдесят восемь лет как поженились».

В Кобоне завернули к Евгению Павловичу Исакову; его хотя не предупреждали, но он оказался готовым к встрече. Должно быть, такой у него открытый дом, такой характер у хозяина. Кем только не перебивал Исаков у себя на малой родине, как вернулся с войны: учительствовал, председателем был сельсовета и капитаном сейнера, и вот рыбаком. Председателем сельсовета поработал, зарплата такая маленькая (это он нам рассказал), а дети, семья...

— К секретарю райкома поехал, говорю, отпустите. Решил податься в город, на сельсоветской зарплате не вытянешь. Он мне говорит: «А вот мы тебя председателем колхоза, там вообще ничего не

получишь». Ну, я понял, что он человек неумный... На штурмана меня Алексей Николаевич учил.

По лицу Суханова стало видно: человеку приятно такое слышать. Преподавал навигацию в мореходных классах при колхозе, учил мужиков плавать по Ладоге. С первого дня, как явился сюда, до последнего дня своего председательства был капитаном–наставником рыболовецкого флота, в этом его призвание. Завернул к своему ученику в Кобону, чайку на перепутье испить — ученик радехонек. И так по всем рыбацким селеньям: Суханову двери открыты.

На что уж Суханов старался удержать людей при Ладоге, привязать семью к земле: колхоз рыбацкий, а председатель пекся о животноводстве, огородничестве, кормовых травах, пашне, отходные промыслы поощрял; рукавицы шили, метлы вязали. За такое радение Суханов если что и получал, то одну нахлобучку; вызовут и наставляют: «Твое дело рыбу ловить». Но Суханов есть Суханов, что–то в нем сохранилось от балтийского матроса–братишки времен штурма Зимнего, обороны Царицына: сам себе скомандует: даешь! — и пошел. Суханов понимал, что одной рыбой жив не будешь, но переломить общий ход вещей не смог. Даже в таком распрекрасном в недавнем прошлом селе, как Кобона: и рыба, и грибные, ягодные леса со всякой дичиной, и покосы, и помидор на грядке краснеет, и красота неопиcуемая — и в Кобоне нынче постоянно живущих семей раз–два и обчелся.

А рыба? Рыбу на стол подадут, вроде та самая рыба, какую всегда едали да похваливали. Но тот, кто рыбу поймал, вдруг скажет о ней в минорном тоне, как о покойнике говорят...

— Сеть похожаешь, — сказал Евгении Павлович Исаков, — а в ней какая–то зеленоватая вонючая гадость, целые комки. После сеть не высушить, а и высушишь, она ни на что не годная.

Рыбу на юго–востоке Ладоги погубили агропромышленные гиганты, такие, как Пашский комплекс, птицефабрики — их стоки с массой биогенов, мириадами болезнетворных бактерий. Погубили — не убоюсь этого слова, так скажет всякий, кто вытаскивал сети в Волховской губе и дальше, до Свирепой губы, ближе, до Шлиссельбургской.

Очевидцы рассказывают, после первого выброса птицефабрикой своих отходов по реке Назии сутки плыла кверху брюхом вся рыба,

какая была, и форель, и хариус. Миногу ведрами вычерпывали; река стала мертвой. То же и на Воронежке, на других текущих в Ладогу реках.

Ну ладно рыба (без рыбы на Ладоге жизнь не в жизнь), а мы с вами, при наших хрупких защитных средствах «на уровне клетки»? Подсчитано, что масса отходов промышленности, сельского хозяйства, нашего бытования на берегах Ладоги ежегодно составляют по объему половину кубокилометра. Подсчитано также, что только для растворения этой массы уходит весь годовой водообменный фонд, то есть вода, приносимая за год в озеро всеми реками, речками и ручьями. Только на растворение! Все это, вместе взятое, протекает по Неве, обогащается стоками пятимиллионного города и... упирается в дамбу. Пока не было дамбы, вода в Невской губе активно перемешивалась с солоноватыми, прохладными, относительно чистыми водами Балтики. При дамбе перемешивание... как бы это сказать, дабы не обвинили в дилетантизме и огульности?.. затруднено. Это уж точно! Специалисты также подсчитали и то, что при наличном содержании минералов в питьевой воде ленинградского водопровода не хватит и на наш с вами век. Сила не только солому ломит, но и железо.

Леща, пойманного Евгением Павловичем, съели, о кем-то погубленной в озере рыбе закручинились. Задались вопросом, кто же виноват в ее погублении. Рыбак Исаков сказал, как о давно решенном, выношенном:

— Главный вредитель — наука. Вон уже дырка в атмосфере от научно-технического прогресса.

Никто не оспорил такую крайнюю точку зрения, за столом воцарилась задумчивость. Не хотелось все взваливать на науку. Мы воспитаны в убеждении примата науки перед чем-либо другим, даже нравственностью. У нас научное мировоззрение. И слава богу! Мало кто углядел грехопадение науки в услужении ведомству. Даже войны, призрак последней фатальной войны мало поколебали в правах государственно-ведомственную науку как первопричину действия. Только экологический кризис во второй половине XX века, осознание

прогрессирующего планетарного недуга вызвали к жизни нечто небывалое доселе: спасительное экологическое единение ума и инстинкта в отношении к Природе как праматери, началу начал. По словам Валентина Распутина, «...такой науки, которая является надкрышием, причиной и источником для всех других без исключения, — науки биосферного существования. В ней все над землей, на земле и в земле друг с другом связано и все миллионнолетним родительством Природы выстроено с такой точностью, что всякое нарушение в малом влечет расстройство в большом. Мы склонны считать, что это мы придумали законы поведения между собой, а также между нами и окружающим нас миром — нет, их внушила во имя общего благополучия она, Природа. Мы принялись их нарушать и привели сначала к сбоям, затем к расстройству, сейчас — к общей дезорганизованности громадного биосферного единства. Все друг с другом связано и все друг для друга существует — несоблюдение нравственных установлений повлекло за собой несоблюдение физических, и наоборот, насилие над землей тут же сказалось на духовном облике нашего современника...

Ехать в том же направлении некуда, впереди пропасть. И, кажется, осознаем это, но... для действий другого... Пусть меняет образ жизни другой человек, другое ведомство, другое государство, а мы, соглашаясь с тем, что надо менять, погодим, обойдемся полумерами. И страдая, легче страдать, чем менять».

Мне вспомнилось: поехали мы с главным лесничим Ленинградского лесохозяйственного объединения Николаем Ильичей Абрамовым в наши пригородные леса посмотреть, как вольные ходоки-туристы, пионерлагеря, садоводства, все, кому не лень, превратили леса во вселенскую свалку-помойку. Больно на это глядеть!

Возводим вину за дисбаланс в природе на ведомство, на науку, а сами плюем в колодезь; знаем, что пригодится воды напиться, однако плюем, с каким-то самоуверенным свинством: не наше, даже и не соседское, ничьё; за пакость никто не спросит. Главный лесничий пожаловался, что некому охранять леса: лесники большей частью заняты на делянках, на деревообработке, да и мало их, не совладать им с силой вытаптывающих, захламляющих леса горожан. Пригородные леса, отданные для «рекреации», — без должной охраны, хоть

сколько—нибудь щадящего режима посещений, без лесокультурных, восстановительных мер (меры предпринимаются, но следы их опять—таки вытаптываются) обречены на угасание. Пригородные леса называют легкими города; так вот, наши с вами лесные легкие поражены тяжелым недугом, нуждаются в экстренном радикальном лечении; в них стали заметны не только затемнения, по и каверны...

А те леса, что подальше... Главный лесничий сказал, что объединение «Ленлес» ведет рубки по берегам рек, текущих в Ладогу, то есть, где легче взять. Лесохозяйственное объединение противостояло, сколько могло, опираясь на правила рубок с соблюдением водоохранных зон. Тогда «Ленлес» предъявил... что бы вы думали? — научное заключение, в котором со всей ответственностью, удостоверенной грифом института, учеными степенями подписавшихся, утверждалось, что почвозащитные, другие природоспасительные функции может выполнять посеянная на месте сведенного леса по берегам рек трава. Вот как бывает: лес с травой уравнивали. Когда «наука» на содержании у Минлеспрома...

В тот день (День Военно — Морского Флота) мы вернулись из Кобоны в Новую Ладогу, сходили на братское кладбище Ладожской флотилии; под вечер я заглянул к вице—адмиралу Черокову (загодя испросил разрешения) в новолadoжской гостинице.

На мой вопрос о высшем начальстве, о тех, в чьих руках... Ну да, о том, что нынче стало главным предметом всеобщего интереса, вышло из—под запрета... адмирал Чероков сказал примерно так:

— Со Сталиным я лично не общался. По телефону разговаривал, по ВЧ. Жданов говорил обходительно, вежливо: «Будьте любезны, пожалуйста, в первую очередь отправляйте суда с продовольствием». Ну что же, я выполнял. Говоров отдавал приказы глуховатым голосом, каждое слово выговаривал в отдельности, безо всяких эмоций. Член военного совета Соловьев был грубоват, с ним приходилось спорить. Он приедет в Осияовец, на озере тихо, со мной свяжется и кричит: «Почему судов нет под разгрузкой?» А у нас восточный ветер разгулялся, волну погнал. Через час и там у них заштормит. Послать суда значило их погубить. Сколько мы так потеряли! Я поступал по—своему, по обстановке. Про Мехлиса ходил анекдот. То есть действительно был такой случай... анекдотический. В сорок втором году готовили прорыв блокады, прислали танки, а аккумуляторы к ним

где-то застряли в пути. Создалось критическое положение: танки даже с платформ не сгрузить. И тут приходит состав с аккумуляторами для Балтфлота. Мехлис — он был представителем Ставки, его приказы выполнялись безоговорочно — распорядился аккумуляторы сгрузить, отдать танкистам. А аккумуляторы — для подводных лодок, массивные, в танки их не впишешь. Через голову Мехлиса никто не решался действовать: возражений он не терпел. Даже Мерецков... Сама обстановка заставила...

— Из всех командующих фронтами, — произнес В. С. Чероков, — с которыми мне довелось иметь дело: с Говоровым, Мерецковым, Баграмяном, — легче всего было с Баграмяном, он понимал, что у флота своя специфика. Самое благоприятное впечатление у меня осталось от Рокоссовского. Сразу после войны меня направили в Польшу советником по Военно-морскому флоту. Я приехал в Варшаву, явился к Рокоссовскому в кабинет — он был министром обороны. Рокоссовский вышел из-за стола, сел напротив меня, очень просто, доверительно сказал: «Я во флотских делах ничего не понимаю...» До тех пор я такого не слыхивал от высшего начальства, все всё понимали. «Мне бы хотелось, — сказал Рокоссовский, — чтобы я мог вам вполне доверять».

Виктор Сергеевич Чероков говорил легко, без пауз, обдумывания, напряжения памяти, только о существенном, не отвлекаясь на частности:

— Тут как-то меня записали на радио — о войне, о Ладожской флотилии. Я передачу послушал: вроде все правильно, но они от себя допустили одну неточность. Звонят мне: «Ну как, понравилось?» Я им говорю: «Вкралась ошибка, лучше бы без нее». Они: «Какая ошибка?» Я им: «Вы сказали: «легендарный адмирал Чероков». Я не легендарный адмирал, мне за войну даже не дали Героя».

Об Алексее Николаевиче Суханове Виктор Сергеевич Чероков сказал так: Он командовал в нашей флотилии кораблем — небольшим, больших на Ладоге не было, — но и не самым маленьким, пригодным для высадки десанта. Суханов был в бою безупречно храбрым. Помню, высаживали десант, в сорок третьем году. У Суханова на корабле отказал двигатель, ветром его понесло под вражеский огонь. Суханов стоял в рубке абсолютно спокойный, только спрашивал у мотористов: «Ну как, скоро?» Спокойствие командира передавалось команде, двигатель починили, задание выполнили.

В конце лета 1988 года мы с Сухановым поехали в верховья ладожских рек, остановились в том месте, где Капша впадает в Пашу. На мосту постояли. Суханов сказал:

Надо наши самые чистые, самые красивые реки: Пашу, Оять, Капшу сделать заповедными, запретить всякую рубку леса, всякое сельское хозяйство по их берегам. Топляки выловить. Рыбу беречь, как зеницу ока. Заняться рыбоводством на уровне мировых стандартов, а не так, как мы, по-кустарному. Ведь по этим рекам ладожский лосось поднимается на нерест — царская рыба. Если загубим наше богатство, красоту, что детям, внукам оставим?

Обычное в таких случаях, назидательное: «Уловил мысль?» Алексей Николаевич почему-то на этот раз опустил. Он говорил необычным для него, тихим голосом, печальным тоном, будто пожаловался, что на это святое дело его уж не хватит... Такая царила вокруг непробудная тишина, что каждый звук отдавался эхом.

А поехали мы по весьма прискорбному делу... То есть я поехал все с той же мыслью проникнуть в загадку Ладоги: что случилось с озером? как помочь? кто за что отвечает?.. Уже год как еду, более десяти тысяч километров набежало на спидометре моей «Нивы», а отгадка все так же далеко: концы спрятаны в воду, начал не видеть. То есть начала те же, какие можно предположить в общей картине кризиса биосферы. Окончания — увы! — не только предвидимы, но и воочию явны. Суханов поохал по колхозному делу, в связи с повальным замором форели в рыбоводческих хозяйствах на Пашозере, в Усть — Капше — от перегрева воды.

Нынче летом температура воды в отгулочных садках поднималась до тридцати градусов, кверху брюхом всплывала рыба. На Пашозере от полного замора спасли студеные воды реки Урьи, вытекающей из Лукинских источников; в них температура редко бывает выше плюс четырех. В Киришах помог рыбоводче скин опыт. В Усть — Капше... Я видел, как плачет тамошний бригадир рыболовов Николай Николаевич Доркичев. Как не заплачешь — сами пруды копали, форель растили, как малых детей, денно и ночью пеклись о ней. Нынче капшозерская форель обещала первую прибыль — немалую. И главное — что рыбоводы все местные, из Усть — Канши, Озровичей,

Корбеничей, Нюрговичей; успех рыбоводного хозяйства давал им надежду на завтрашний день: не надо сниматься с насиженных мест, больше надеяться яс на что. И такая беда, все пошло прахом.

В одном из прудов–садков на берегу реки Капши отгуливается местный лосось, в Капше пойманный. То есть поймали икрянную матку на нересте; из икры вырастили молодь. Растет лосось медленнее, чем привозная форель, перегрев воды нынче летом вынес (был отход, но незначительный). Приехали мы с Сухановым в Усть — Канту; рыбоводы сошлись в кружок, с опущенными головами и сказать нечего. Алексей Николаевич вместе со всеми попереживал, попенял, впрочем, как бы и без укора:

Надо было холодильник завести, соль иметь в запасе. До Тихвина довели бы и продали за милую душу. Знаете, что новгородец в старые времена брал с собой в первую голову, когда отправлялся в Ильмень рыбачить? Кадушку со льдом и мешок соли...

Ободрил как в воду опущенных капшозерских мужиков:

— На ошибках учатся.

Сделал целеуказующий вывод:

— Сосредоточим все усилия на лососе. Будем лосося растить.

Того же мнения и председатель колхоза имени Калинина Е. Б. Панфилов.

Конечно, дело благое... Но можно рассчитывать на успех только в том случае, если дело это поставить по науке, не партизанить, как прежде бывало, да и теперь... Обратиться за опытом к финнам, шведам, норвежцам — у них лососевое хозяйство работает без осечки, а природа такая, как и у нас. Или съездить в Канаду... Хотя известно, что и там у них... многие лесные озера обезрыбели от кислотных дождей. В наших дождях серной, соляной, других кислот ничуть не меньше, чем в шведских, канадских. Это уж точно!

В большом, глубоководном, без какой-либо деятельности по берегам, с-вершено чистом (одна моторка на все озеро у охотника Володи Жихарева, да и та стоит: нет бензина) Капшозере в не столь отдаленные времена лавливали лосося, судака, леща, распрекрасную местную рыбу без костей — рипуса, а нынче не поймаешь и окушка. В чем причина? Обратишься за ответом к сведущему человеку — сведущих пруд пруди: Институт озероведения, ГосНИОРХ, Ленрыба, еще всяких прорва — он пожмет плечами, укажет пальцем в небо —

кислотные дожди... Каких кислот, сколько, откуда, из чьих труб, при каких Петрах, в какой прогрессии прибывания (об убывании никто и не помышляет) должно пролиться на лоно вод, дабы сгинула рыба? Какова очередность: сегодня в этом озере, завтра в том? Сие никому не известно.

Сколько чего прольется на наши с вами головушки? На сколько хватит наших защитных средств? Вот это надо бы знать и предавать гласности. Ведь прародитель всех позвоночных (и нас с вами), согласно теории эволюции, из воды на берег вышел... Из той самой воды, в которой нынче рыбам небо с овчинку...

Поступил сигнал из Приозерска, от бдительного эколога: роют канаву из Щучьего залива в Дроздово озеро. Раненько утром мы с Сергеем Цветковым и с председателем неформального экологического объединения «Дельта» Петром Кожевниковым помчались туда... Дроздово озеро все так же «благоухало», как год назад, мертвенно-бурой застылостью не наводило на мысль о воде. Озеро не стало меньше, хотя все так же стекало по лотку в Щучий залив его содержимое; к тому, что в нем было, добавляются бытовые стоки города Приозерска.

Правда, уже протянуты трубы от выстроенного здания (целого комплекса) очистных сооружений, в обвод Дроздова, Щучьего — в Ладогу. Очистку обещают самую наичистейшую. Юрий Сергеевич Занин заверяет, что так и будет. Поперек Щучьего залива, в его горловине, возвели каменно-песчаную фильтрующую дамбу, так что залив теперь тоже стал озером.

Перешли по дамбе с одного берега на другой. Мои сотоварищи сунули нос под каждый камень, все замерили, разнюхали. Такие они ярые, совкие, на слово не верящие, несговорчивые, кому-то (многим) неудобные — эти молодые экологи. И все за так, не жалеючи времени, живота своего — по велению совести или еще чего-то такого, первоначального сегодня — биосферного сознания, биосферной этики...

Об этом совершенно новом понятии: «биосферная этика» — я вычитал в книге Фатей (Ляпунова «Оглянись на дом свой») («Современник», 1988). В ней впервые, насколько мне известно, дается философское, этическое толкование тому, что случилось с нашим сущим миром — усилиями человечества, будь то земля, вода, воздух, космос,

природа как страдательный объект человеческой деятельности. Научные реалии и прогнозы, бесстрашие ученого перед истиной облечены в горячую проповедь радетеля за высшее наше с вами благо — жизнь на земле. В предисловии к книге Фатей Шипунова Валентин Распутин рекомендует ее как настольную. Воистину так! Прочитайте — и убедитесь.

Я знал Фатей Шипунова, когда в начале шестидесятых годов он с группой выпускников Ленинградской Лесотехнической академии отправился в Горный Алтай создавать в кедровой тайге единственное — первое — хозяйство, основанное па идее неубывания природы, Кедроград. Судьба Кедрогграда описана в книге Владимира Чивилихина «Шумы, тайга...». Идеализм молодых лесоводов довольно—таки скоро был угашен влиятельными чиновниками, энтузиазм унят планово—экономическими установлениями.

Может быть, кто—нибудь видел сериал фильмов Фатей Шипунова «Земля в беде» (на широком экране их не показывали) — крик души по матушке-Волге, до того измученной великими стройками, что и течения в ней не слышать. На поставленный более ста лет назад поэтом вопрос: «Выдь на Волгу, чей стон раздается над великою русской рекой?» — сегодня можно ответить: стон Фатей Шипунова сотоварищи.

Фатей Шипунов работает в Научном совете по проблемам биосферы при президиуме АН СССР, руководимом академиком А. Л. Яншиным. В издательской аннотации к его книге «Оглянись на дом свой» автор назван «ученым—экологом», без каких—либо степеней и званий.

Так вот, о биосферной этике, как трактует ее Ф. Шипунов: «... этика должна соблюдаться на всех уровнях жизни человека — от индивидуальной до общенародной и общечеловеческой. В самой простой форме принципы данной этики таковы: уважение ко всему живому (и, в частности, к человеку) и уважение к природе, то есть биосфере и ее окружению... Мы стоим на пороге выработки у каждого человека той экологической, а точнее биосферной этики, которая должна определять взаимоотношение человека и среды его обитания.

Биосферная этика настоятельно требует от каждого следующее: действуй таким образом, чтобы вся биосфера и ее окружение составляли цель, а не только средство твоей деятельности... Действуй

таким образом, чтобы все живое как носитель организованности природы было целью, а не только средством твоей или нашей деятельности.

Вытекающее отсюда основное нравственное требование заключается в том, чтобы организованность природы была для нас безусловной целью...»

Вода в Щучьем заливе, кажется, одного цвета, запаха по ту сторону фильтрующей дамбы и по эту. В выражении лиц экологов прочитывалось: на дамбу надейся, но как бы не оплошать с «рекультивацией» Дроздова озера. Собственно, ради этого мы и поехали. В постановлении Совмина 1986 года по Ладоге записано завершить рекультивацию в 1988 году. Год на исходе, а поглядеть — и конь не валялся.

В прямой связи с рекультивацией и упомянутая канава... Остановились на перемычке, отделяющей прорву отравы, заключенной в низкие берега Дроздова озера, от Щучьего залива (тоже теперь озера). От Ладоги... Вот она, канава! Не канава — канавища, довольно—таки глубокий ров, можно счесть его ложем канала. С уреза воды в Щучьем начали рыть, дорыли до дороги на перемычке... В копани свежие следы зубов ковша экскаватора...

Здесь я вернусь к событию двухмесячной давности, к предыстории канавы В Доме дружбы шло заседание «зеленых»: экологической комиссии, «Дельты», Ленинградского отделения ассоциации «Мир и экология». «Зеленые» разные: от седовласых докторов до совсем «зелененьких», босиком с улицы прибежавших (дело было в самую жару), с нечесаными гривами на головах, перехваченными тесемками. Председательствовал Юрий Янович Ледин...

Два слова о Ледине... Вы смотрели его фильмы — о котиках на Медном острове, о белых медведях на Врангеле, на Таймыре? Фильмы Ледина уникальны тем, что в них, сверх жизни зверей, отснятой с какой—то семейной доверительностью, явлена еще и жизнь семьи человеческой: мужа, жены, дочка — на севере диком, прекрасном, вдали от сообщества людей. Режиссер—оператор Ледин снимал свои фильмы вместе с женою, дочкой (на Медном острове она еще школьница) и больше ни с кем. Киноэкспедиции семьи Лединых длились месяцы, жили в палатке близ лежбища котиков, на медвежьей

тропе... (Да простится мне этот трюизм «медвежья тропа»; не знаю, натаптывают себе тропу белые медведи на Врангеле или шастают по острову кому как взбредет на ум). В экспедициях Ледины обходятся без ружья, без выстрела; рыбу ловят, а больше ни—ни. И ни малейшего страху — на экране все видно (хотя Ледин мне говорил, всяко бывало). Как — помните? — в свое время канадский писатель Фарли Моуэт зиму прожил на севере Аляски рядом с волчьим логовом, засвидетельствовал нам — в книге «Не кричи, волки!» — волчью... коммуникабельность с человеком.

Фильмы Ледина получили главные призы на международных конкурсах. Съездить за границу хотя бы за одним призом его ни разу не пустили, другие нашлись... В полярных экспедициях Ледин проникся чувством слиянности с природой, сыновней готовностью за нее постоять и непоколебимым мужеством.

В Ленинграде возглавил отделение ассоциации «Мир и экология», при Комитете защиты мира, в котором председателем поэт Михаил Дудин. Ледии с Дудиным познакомились на полярной зимовке.

На том заседании в Доме дружбы представитель Гипробума докладывал экологической общественности проект рекультивации Дроздова озера, выполненный по заказу Минлеспрома. Главные пункты проекта состояли в том, чтобы верхние слои Дроздова сбросить в Щучий, оставшееся в котловине засыпать торфом, посеять траву. Проект был сходу отвергнут «зелеными» — единогласно. С впечатляющими данными в руках экологи доказали, что добавка в Ладогу массы токсических веществ приведет... ну да, к непредсказуемым последствиям. Ладога и без того тяжело больна. Тем более это недопустимо вблизи водозабора Приозерска... да и Ленинграда. Небезопасным в экологическом отношении посчитали и оставление в почве на дне котловины токсикантов; со временем их отравляющие свойства вкупе ужесточаются...

Предложили провести конкурс на рекультивацию Дроздова озера на принципиально иной основе: озеро изолировать от Ладоги, содержимое выкачать и утилизировать. В Финляндии из отходов целлюлозно—бумажной промышленности изготавливают массу, пригодную для покрытия дорог.

Представитель Гипробума ушел с того заседания убежденный, обиженный, с решимостью стоять на своем. Однако наложенное на

проект — экологической общественностью — вето вступило в силу. Впоследствии проект обсудили на исполкоме Приозерского горсовета, опять-таки зарубили его, официально, записали в решении. Это было летом...

В ненастный предосенний день мы с Сергеем Цветковым, Петром Кожевниковым стояли над канавой, только что вырытой в полном соответствии с тем самым проектом Гипробума, по заказу Минлеспрома. Рыть до Дроздова озера оставалось всего ничего, дорогу перерыть, еще самую малость — и Дроздова озера поминай как звали, схлынет в Ладогу. Так мы стояли над канавой, чесали в затылках. Завязывался детективный сюжет со многими неизвестными: кто рыл? кто распорядился? что за этим стоит? Забегая вперед, скажу, что ответа в тот день мы так и не доискались, хотя искали рьяно: мои молодые сотоварищи в своей экологической деятельности наработали навыки, прыть, нюх детективов.

Первый, к кому мы обратились с нашим недоумением, оказался на месте — главный инженер стройтреста, осуществляющего комплекс работ на побережье у Приозерска, Анатолий Иосифович Гонтарь. Он открестился от нас, как от нечистой силы, сказал, что сегодня из отпуска, ни о какой канаве знать не знает. Да и вообще, что такое канава? Не там вырыли, завтра зароем, на два часа работы.

Тут как раз трестовская не то летучка, не то планерка. Говоренное на ней Цветков с Кожевниковым записали на пленку. После, дома, мы послушали запись — говорили кто во что горазд, ускользала главная нить разговора, о чем идет речь. Что было явным, так это заведомая неприязнь строителей природоохранных сооружений, то есть экологов по роду действия, к экологам умствующим, со стороны. Как будто не об одном печемся: о здоровье Ладоги, о нас же самих, здесь живущих. «Вы нас в эту историю не впутывайте», — сказала одно из ответственных лиц. Космически далеко еще нам до «биосферной этики»!

...Первый секретарь Приозерского горкома КПСС Владимир Александрович Кармановский стоял на крыльце горкома, моложавый, стройный, подтянутый, красивый, синеглазый, простоволосый, безукоризненно чисто одетый по моде своего ранга. Мы к нему шли гуськом, понурясь, он ждал нас, внутренне готовясь к неприятному

для него разговору. Выслушал, пыхнул сигаретой, окутался дымом, сощурился в полуулыбке.

— Где вы были, ребята, в тяжелые для нас времена, когда завод закрывали? После драки легко кулаками размахивать. Идемте ко мне в кабинет.

О канаве первому не докладывали. Пригласил второго, Александра Васильевича Брежнева, тоже молодого, в очках, крайне настороженного. В самый пик приозерской сшибки Брежнев занял правильную позицию, проявил твердость (Кармановский пришел в горком позже); о канаве он тоже не знал. Приехавший вместе с нами фотокорреспондент щелкал блицем, поставленный на стол магнитофон подмигивал. Секретари нервничали: еще не привыкли к таким наскокам общественности — в безопасных стенах родного горкома.

К Юрию Сергеевичу Ланину я зашел один. Он знал про канаву, однако не выказал какого-либо беспокойства. Может быть, устал человек от уготованной ему роли защитника Ладоги № 1 или знал что-то, чего мы не знали. Он сказал, что если какую-то толику из Дроздова сбросят в Щучий, едва ли что изменится, при фильтрующей дамбе и очистных сооружениях, которые вот-вот введут в строй. А канава — что же? Скорее всего, экскаваторщику дали объем работ, он его выполнил... не в том месте. Нарыли — зароят.

Председатель Приозорского горисполкома Виталий Максимович Степанько был занят на сеансе прямой связи с трудящимися. Мы дождались его, объяснили, в чем дело. Он тотчас подхватился ехать — тоже про канаву не знал. Приехали па ту самую перемышку, еще постояли над канавой... Как-то и говорить было не о чем. Прошелестело кем-то оброненное слово «провокация». Чья? Против кого? Будто в происходящем никто, не взирая на должность, не волен был распорядиться, взять на себя верховенство, твердо решить, что станет завтра с этим озером, этим городом, этим заводом. Местное начальство за что-то отвечало, что-то предпринимало, разумеется, во благо города, горожан. Однако верховодила более сильная рука. Известно чья — Минлеспрома, заказчика, того, кто платит.

Завод при городе или город при заводе? Этот вопрос вопросов нашего социального — и экологического — благоустройства вставал со всей остротой на XIX партконференции, г ним прежде всего

обратились трудящиеся Красноярского края к М. С. Горбачеву, во время его поездки туда...

Стоя у края канавы с поникшей головой, председатель Приозорского горисполкома произнес примерно такой монолог:

— Целлюлозный завод закрыли, перепрофилировали производство на мебельное, по многие у нас ведут себя так, как будто ничего не изменилось, пойдет, как шло, а это временное... Кстати, и новое производство не так безобидно для окружающей среды, как принято считать... Все, что строится здесь — на счет Минлеспрома, им финансируется, оттуда и направляется. У нас нет экономических рычагов — сколько-нибудь эффективно контролировать, нет прав. Вот разве частичные санкции через санэпидстанцию...

В обширной публицистике на эту тему с наибольшим, на мой взгляд, здравомыслием высказался Василий Олюнин в статье «Условия нашего роста» («Знамя», № 7, 1988): «Социализм действительно более подходящ для централизованного управления экономикой, и оно совершенно необходимо, тут и вопроса нет. Но централизм удобнее обеспечить не тотальным директивным планированием, а иначе — косвенными, по преимуществу экономическими приемами. Их широко используют в мире. Приведу пример.

Япония первая среди развитых стран приблизилась к экологической катастрофе. Это ведь одна из самых перенаселенных стран, стремительно растущая экономика буквально сживала людей со свету... Случались массовые отравления отходами производства. Сегодня... ничего такого нет. Так что же, население вдруг сговорилось и стало беречь среду обитания? Нет, тут государство взяло дело в свои руки. Допустил предприниматель вредные выбросы, — улетят такие деньги, за которые найдутся охотники убирать грязь. Государство ввело жесткие стандарты на выхлопы из автомобилей и объявило: через пять лет эти нормы вступят в действие. Автостроительные корпорации, хочешь не хочешь, переходят на выпуск машин, отвечающих таким стандартам. Знакомый журналист, побывавший недавно в Японии, говорил: «Наш "Москвич" там и квартала не проехал бы». Это и есть централизм управления на деле. А мы все директивы пишем, планы составляем, как спасти Байкал и Ладогу».

На обратной дороге от Дроздова озера в Приозерск, в сгустившихся сумерках, навстречу нам попал бульдозер, посланный

зарывать канаву. Мои спутники что-то умолкли, задумались. Слева, скрытая за соснами, молчала Ладога. Если остановиться, выйти из машины, можно ощутить дыхание большой воды.

Год назад я пустился в путь вокруг озера с мыслью поглядеть ему в глаза, по озеро не откликалось, отводило глаза; его взор направлен внутрь себя. Подумалось: раскокаем голубую чашку из сервиза — семейную радость — жалко до слез. А тут в руках у нас божественный сосуд, наполненный животворящей влагой. Рук слишком много, а надобна только одна, исполненная силы и благоразумения.